

Мурка, Маруся Климова

Автор:

Анна Берсенева

Мурка, Маруся Климова

Анна Берсенева

Ермоловы #3

Если тебя зовут Маруся Климова, то песню «Мурка» ты с детства знаешь наизусть. Все знакомые то и дело напоминают, что, согласно этой самой песенке, твое жизненное предназначение – простить любимого. Но правда ли это? Ведь любимый – отставной военный, настоящий полковник – относится к Мурке так, что прощать его совсем не хочется... Может, судьба предназначила Марусе Климовой быть клоуном в цирке? А что, ей это нравится! Ни о чем, кроме цирковой арены, она не думает. И неожиданное знакомство с Матвеем Ермоловым не кажется ей серьезным...

Анна Берсенева

Мурка, Маруся Климова

Часть I

Глава 1

Если тебя зовут Маруся Климова, то песню про Мурку ты с детства знаешь наизусть. Потому что в твоём детстве не было ни одного взрослого, который не назвал бы тебя муреночком и котеночком или не напомнил, что ты должна простить любимого.

Впрочем, в Марусином детстве было не так уж много взрослых, которые обращали внимание на кого-нибудь, кроме себя. У нее вообще было странное детство: Марусе казалось, что оно началось в восемь лет. До этого она была взрослая, потом, от восьми до шестнадцати, побыла ребенком, а потом стала взрослой опять. На этот раз навсегда. От сознания того, что детства больше не будет, ей становилось грустно, и она старалась об этом не задумываться.

Маруся зашла на кухню и, не зажигая свет, посмотрела в окно. Окно кухни выходило во двор, и из него было видно, как приезжает Толя. Он всегда ставил свой джип в глубокий «карман» рядом с детской площадкой. Это было удобное место, потому что никто не мог случайно задеть стоящую здесь машину. Толя приложил немало усилий, прежде чем добился, чтобы это место никто не занимал. «Карман» и теперь был свободен, хотя была уже глубокая ночь и машины стояли во дворе так тесно, что выезжать им завтра пришлось бы поочередно.

Маруся прижалась к холодному оконному стеклу лбом и носом. Это была детская привычка – мама всегда напоминала, что Маруся выглядит в такие минуты особенно нелепой и некрасивой.

– Ты только представь себе этот блин в окошке, – говорила мама. – Нос сплюснутый, на лбу белое пятно... Еще и рот у тебя как у лягушки. Женщина-ожидание во всей красе своего идиотского благоговения перед мужчиной!

Сама она не ожидала никого и никогда, поэтому ее раздражало, что восьмилетняя Маруся ожидает Сергея – вот так, прижавшись лбом и носом к стеклу и прислушиваясь, не свернет ли с шоссе его машина. Их старый деревенский дом был перекошен так, что, казалось, вот-вот упадет, оконные рамы перекошились тоже, и сквозь заткнутые ватой щели гул мотора был слышен издали.

– Он просто очередной мой любовник, – говорила Амалия. – Он приезжает сюда потому, что ему скучно спать с женой, и не надо связывать с ним никаких иллюзий. Все эти розовые сопли – ах, он любит тебя, как родную дочку! – просто его красивая выдумка, которую он тебе неизвестно зачем внушил. Мы с господином Ермоловым расстанемся максимум через месяц, и для тебя же лучше быть к этому готовой. А не торчать в окошке дурацким пятном.

Но Маруся все равно делала по-своему. Она вообще была упрямая, даже в детстве, просто мало кто это понимал. Вернее, не так: если она что-нибудь чувствовала, хотя бы смутно, то и поступала, как подсказывало ей это чувство. А чувство, связанное с Сергеем Константиновичем Ермоловым, даже и не было смутным. Это было самое отчетливое и самое счастливое чувство ее детства: любовь мужчины, который и вправду пришел в их дом как случайный любовник матери, но при этом сразу, то есть в первое же утро, когда он вышел из маминой комнаты и увидел Марусю, сидящую за пустым кухонным столом, стал ей ближе, чем все близкие люди, вместе взятые. Маруся не знала, любит ли он ее, как родную дочку, да у него ведь и не было родной дочки, а был взрослый сын, которого она никогда не видела и видеть не хотела, потому что ужасно ревновала к нему Сергея. Но то, что Сергей Ермолов единственный человек, который всегда, каждую минуту помнит о ее существовании, она чувствовала и знала. Ее детство началось с того дня, когда он появился в доме, и Маруся с ужасом ждала, что мама в самом деле расстанется с ним, как все время обещала, и тогда детство снова кончится. Ей не хотелось быть взрослой, ей страшно было быть взрослой в восемь лет! И когда мама сказала, что за детство цепляются только инфантильные дуры, это было первое, в чем Маруся ей не поверила.

К счастью, вопреки маминой уверенности Сергей Ермолов не исчез из их жизни ни через месяц, ни даже через год. Лет в четырнадцать Маруся поняла, что связь с мамой так же сильна, как и мучительна для него. Как только мама входила в комнату, у Сергея менялось лицо – ясная любовь, стоявшая в его глазах, когда он разговаривал с Марусей, исчезала совершенно, сменяясь чем-то другим, чему Маруся не знала названия. При виде Амалии у него возле глаза проступало белое тонкое пятнышко, как будто стрела впивалась ему в висок, и губы пересыхали, и даже голос менялся. Тогда Маруся не понимала, что с ним происходит.

Она поняла это, только когда встретила Толю.

Задумавшись, Маруся не заметила, как его джип въехал во двор. Она спохватилась, увидев, что Толя уже входит в подъезд, и отпрянула от окна. Его, как и маму, раздражало ее нелепое ожидание. Только его оно раздражало не потому, что он был сторонником женской независимости – совсем наоборот! – а потому, что Марусино ожидание обещало зависимость ему, а этого он не терпел. Год назад, в самом начале их отношений, Маруся попыталась объяснить, что все это – и ее дежурство у темного окна, и невозможность заснуть, если его нет дома, и расспросы о том, как прошел его день, – ни к чему его не обязывает. Но он не поверил.

Она включила телевизор прежде, чем хлопнула тяжелая дверь лифта на площадке, – чтобы Толя не догадался, что она опять весь вечер маялась ожиданием. Дом был старый, и лифт был старый, с сетчатой железной дверью, и сердце у Маруси вздрагивало в опасливом предвкушении счастья, когда она слышала этот хлопок и сразу же за ним скрежет замка, и шаги в прихожей, и шорох плаща... Тут она обычно выбегала Толе навстречу, и это были самые прекрасные минуты ее дня. Радость вспыхивала в его глазах, когда он видел ее, это была настоящая радость, первая, а потому безобманная. Потом бывало по-всякому – он мог быть усталым, раздраженным, сердитым на кого-то, отрешенно-здумчивым. Но вот эта первая радость от встречи с нею была всегда, и ради нее Маруся готова была не обращать внимания на любые «потом».

Сегодня он был веселый.

– Не спишь, малыш? – спросил Толя, когда Маруся выглянула в тесную прихожую. – Ну и хорошо! Соскучился по своему малышу, ну, иди ко мне, иди...

И принялся целовать посветлевшее Марусино лицо, гладить ее по голове – совсем по-особенному гладить, как только он умел: запуская пальцы в ее волосы, ворошил грубовато, как траву, но при этом дышал в макушку с любовным нетерпением. Он был кряжистый и невысокий, но Маруся все равно была меньше. Сергей говорил, что она андерсеновская девочка, ростом не больше дюйма. Когда она рассказала об этом Толе, он с удовольствием согласился. Ему нравилось, что она такая маленькая, в самом деле малыш. Правда, Маруся ежилась, когда он называл ее этим словом, которое казалось ей каким-то нарочитым. Но, в общем, это было неважно. Он ведь называл ее малышом в те минуты, когда не скрывал своей к ней любви, и разве имела при этом значение такая малость, как то или другое слово?

От его усов веяло табаком, крепким дорогим одеколоном, тревожным коньячным духом; голова у Маруси кружилась от этого сильного, едкого мужского запаха. Он был мужчиной до мозга костей, все в нем говорило об этом – и вот этот запах, идущий от жестких усов, и ласковая небрежность пальцев, и то, как он одной рукой подхватывал ее и отрывал от пола, целуя, а потом, в поцелуе же, медленно опускал обратно, так, чтобы, скользя животом по его животу, она почувствовала, что он уже хочет ее, прямо с порога хочет, и обрадовалась бы еще больше, и выбросила из головы свою ревность, которую тщательно от него скрывала и о которой он все равно насмешливо догадывался...

– У тебя что-то хорошее случилось, да? – спросила Маруся, когда Толя поставил ее на пол.

– Почему случилось? – хохотнул он. – Случилось – значит, случайно вышло. А я случайности исключаю. Как сапер! Ну все, все, малыш, дай раздеться. Разбери пока там, в пакете. Я жратвы всякой вкусной принес, коньячку, «Мартини» тебе. Отметим мою удачу!

Толина ласковая грубоватость возбуждала ее так же, как соломенный ежик волос у него на затылке. У Маруси в глазах темнело, когда, обнимая его, она прикасалась ладонями к этим жестким волосам. И даже если это происходило ночью и кругом все равно было темно, то в глазах у нее темнело тоже.

Но страстная ночная темнота ей сегодня еще только предстояла. А сейчас надо было разобраться с едой, которую Толя принес, чтобы отметить с Марусей какую-то свою удачу.

Если он заезжал в супермаркет, то всегда покупал все самое дорогое. Икру – обязательно черную, в большой стеклянной банке; красной он не признавал. Мясо – нежно-розовое, без единой прожилки, такое, что его, казалось, можно есть сырым. Пирожные – замысловатые, как дворцы в стиле рококо. Спиртное – в бутылках с такими этикетками, которые напоминали картины импрессионистов. Вообще-то Маруся не удивлялась дорогим продуктам: Сергей тоже привозил им с мамой не макароны с тушенкой. И все-таки то, что привозил Сергей, было другое. Она не смогла бы объяснить, чем именно другое, но это было для нее очевидно. Все, что покупал Сергей, было какое-то... разное. А в привозимых Толей продуктах была та же одинаковость, что и в его ежевечернем слове «малыш». И так же неважна, как любые слова, была для Маруси эта

одинаковость продуктовой роскоши. Она понимала, что он покупает все самое красивое, чтобы ее удивить, и подыгрывала ему своим удивлением.

Все, что он привез сегодня, почти не надо было готовить. Ну, разве что мясо поджарить, но свежее мясо жарилось ведь быстро. Маруся вспомнила, как Сергей когда-то учил ее варить уху из осетрины.

– Я и сам вообще-то не умею, – говорил он тогда. – Но, по-моему, из хороших продуктов легко готовить. Вот увидишь, у тебя сразу получится.

Уха у нее тогда в самом деле получилась такая, словно Маруся была не дочкой своей мамы, а шеф-поваром ресторана «Националь». Сергей вообще всему умел учить так, что у нее все сразу получалось. Раньше, еще до бизнеса, он преподавал математику в университете, и Маруся догадывалась, что студентам, наверное, хорошо было у него учиться. Но спросить его об этом она не решалась – видела, что расспросы о прошлом для Сергея отчего-то тяжелы.

Во всяком случае, если бы не он, Маруся не умела бы даже жарить мясо. И не только потому, что без него такой роскоши, как мясо, в их доме просто не водилось бы, но и потому, что мама искренне, не притворяясь, презирала быт и не готовила никогда, а бабушка хоть и готовила, но невкусно – как-то слишком просто, даже грубо; каша для Маруси и для поросенка у нее получалась одинаковая.

Маруся накрыла на стол быстро, пока Толя переодевался из полковничьей формы в домашние спортивные штаны. Наверное, у него сегодня в самом деле произошло что-то важное: Толя давно был в отставке и форму надевал лишь в особых случаях. Он вошел на кухню неслышно и обнял Марусю сзади так крепко, что она чуть не облилась раскаленным маслом со сковородки. Он был по пояс голый, а на Марусе был узенький топик; волосы, которыми густо заросла его грудь, защекотали ей спину.

– Все, Манюха, время твое на готовку вышло, – поторопил Толя, оттесняя ее от плиты. – Садись давай, выпьем-закусим, чем Бог послал.

Маруся посыпала мясо провансальской приправой, накрыла сковородку крышкой, выключила плиту и вытащила из-под стола табуретку. Но Толя ногой задвинул табуретку обратно, сел на диван, притянул ее за руку к себе на колени

и сказал:

- Да не ютись ты на этой жердочке! Лучше меня приласкай и сама понежься.

И как же это было хорошо! Маруся потерлась носом о его грудь, чихнула от щекотных курчавых волос и счастливо рассмеялась. Толя одной рукой обнял ее, другой налил себе коньяк, а ей «Мартини».

- Так что же у тебя случилось? - напомнила Маруся. - Ой, то есть не случилось, а произошло?

- Хорошая ты девка у меня! - Он тремя глотками выпил стакан коньяка и на закуску поцеловал Марусю.

- Почему? - Она снова засмеялась: очень уж приятна для нее была такая его закуска.

- А понятливая потому что. Не случилось, а произошло... С полуслова все усваиваешь. С одной стороны, вроде так оно тебе и положено, головка-то в восемнадцать лет не отупела еще. Но, с другой стороны, молодые девки обычно только про себя, красивых, помнят, а ты вот... Эх, малыш, если выгорит у меня сегодняшнее дельце, ты у меня в золоте будешь ходить, икру половником кушать!

- Я и так в золоте хожу, - напомнила Маруся. - Ты же мне только что серьги подарил, хотя у меня уши не проколоты. А икру я есть не могу, я от нее икаю.

- Вечно ты свои пять копеек вставишь, - поморщился Толя. - Поторопился тебя похвалить! А уши, между прочим, ради подарка могла бы и проколоть.

Марусе не хотелось ни прокалывать уши, ни тем более надевать подаренные Толей крупные золотые серьги. Его коньячные бутылки, от которых за версту веет дороговизной, - это было, на ее взгляд, еще ничего, но вдетые в собственные уши серьги, от которых веет тем же самым... Конечно, если бы Маруся почувствовала, что Толе важно, носит ли она его подарок, то проколола бы уши сразу и вдела бы в них что угодно. Но ему это было неважно, и все по той же причине: потому что он был мужчиной и по-мужски не обращал внимания на

мелочи. Широта натуры, невнимание к мелочам – это было в нем так заметно, особенно по сравнению с мелочностью всех творческих людей, которые окружали Марусю с детства, что она почувствовала это в нем сразу и сразу влюбилась в него. Во все в нем влюбилась, и в эту его прекрасную невнимательность тоже. Сразу и навсегда.

– Я проколю уши, – заверила она и поцеловала Толю в крепкое плечо, прямо в замысловатую татуировку; это была эмблема части, в которой он служил.

– Сережки хоть вид имеют, не то что твои приколки. Вечно руки царапаю, как все равно не девушку глажу, а кошку.

Челка у Маруси была непослушная – падала на глаза, поэтому Маруся прикалывала ее не одной, а десятком маленьких разноцветных заколок. До встречи с Толей она этого не делала: ей казалось, из-за ярких заколок все сразу начнут обращать на нее больше внимания, чем позволяет ее внешность. Но с Толей ей стало безразлично, что подумают о ней посторонние люди, и первое, что она сделала, – стала прикалывать челку десятком разноцветных заколочек.

– Контракт мы сегодня выгодный заключили, вот что у меня произошло, – довольным тоном сообщил Толя. – Со спортсменами объединяемся на почве игорного бизнеса. Такое вот дело, Маняшка! Спортсмены свои денежные ручейки упустили было, ну а теперь снова на себя повернули. Лицензии на казино будут выдавать. Спорт-то нынче в моде. А мы им безопасность будем обеспечивать. За хороший, понятно, процент. Так что будут тебе сладкие пирожные! Раз икру не любишь, – улыбнулся он.

Пирожные Маруся в самом деле любила, и чем слаще, тем лучше. Не зря бабушка говорила, что такой большой рот, как у нее, бывает только у сладкоежек. Она и конфеты любила, и даже обыкновенную тертую смородину, хотя бабушка всегда экономила и клала в нее слишком мало сахара.

– Я тебя и без пирожных люблю, – зажмурившись, сказала Маруся. – Ужасно люблю. – И, помедлив, все же решилась добавить: – Мне так без тебя грустно целый день...

– Маня, Маня! – поморщился он. – Сто раз же говорено-переговорено. Ну, могу тебя на фирму взять. Менеджером, например. Будешь с девяти до шести в офисе

сидеть, со мной исключительно по делу общаться. И на «вы», как по субординации положено. Надо тебе это?

- Не надо, - вздохнула Маруся. - Я больше не буду ныть, ты не сердись.

- А я и не сержусь, - улыбнулся он. - Как на такого милого малыша сердиться? Я ж тоже, Мань, за тобой скучаю. Бывает, вспомню, как утром в кроватке с тобой прощался, так середь бела дня и встанет, даже перед людьми неудобно. Да хоть сегодня - перетираем мы с партнером насчет процента, то-се, и тут как вошло мне вдруг в голову: а вот через часок-другой вернусь домой, а там моя Манечка-карманечка так на шее у меня и повиснет... И все, проценты побоку, только и думаю, как тебя обниму-поцелую, голенькую потрогаю. Разденься, а, Манюшка? - Его голос прозвучал почти просительно, хотя ни о чем, что было связано с любовью, ему просить никогда не приходилось. - Побалуй старика.

- Какой же ты старик? - улыбнулась Маруся.

- Да уж по сравнению с тобой старик. Тридцать семь, забыла? Но ничего... - Он провел ладонью по ее шее, по плечу, по бедру, и Маруся сладко вздрогнула от его медленного, очень чувственного прикосновения. - Это девчонка молодая должна быть, а мужик к сорока годам только силу набирает. Думаешь, с сопляком каким-нибудь тебе слаще было б?

Маруся вообще об этом не думала. И какой должна быть девчонка, а каким мужик, она не думала тоже - подозревала, что никаких законов на этот счет нет вообще. Она любила Толю, и ей неважно было, сколько ему лет.

- Ну, малыш, давай, давай! - Он нетерпеливо потянул вниз ее узкий топик. - Чего стесняться, мы ж с тобой одни. Плохо оно тебе?

- Хорошо, - шепнула Маруся. - Я и не стесняюсь.

Все-таки она стеснялась ходить голой, даже при неярком свете кухонной лампы. Но Толе это нравилось, и он часто просил ее раздеться совсем, даже если она просто жарила картошку. Он говорил, что Маруся красавица и ее сладкая фигурка очень его возбуждает. Она понимала, что это не может быть правдой - бабушка не зря называла ее фигуру цыплячьей. Но слышать, что ее считает красавицей мужчина, от одного взгляда которого у нее темнеет в глазах, было

до невозможности хорошо. И если этот единственный мужчина просит, чтобы она разделась перед ним, то почему бы и нет? Ведь вечер с ним наедине – это такое счастье, что все остальное уже неважно...

Маруся мигом разделась и снова села к Толе на колени. Он прижал ее к себе, и она почувствовала, какими твердыми стали мускулы у него на груди, как только их коснулась ее голая грудь.

– Ах ты, кошечка моя... – хрипло прошептал он. – Ягодка моя, наливное яблочко...

Маруся не заметила, как он тоже разделся. И не только потому не заметила, что ему пришлось всего лишь снять спортивные штаны, но главным образом потому, что она уже вообще ничего не могла замечать. От его ласковых слов, от его прикосновений у нее словно струна натянулась внутри, и по струне этой пошел такой сильный ток, что перед глазами заплясали разноцветные пятна.

– Перекинь-ка ножку через меня... Вот та-ак... – Его голос дрожал и прерывался. – И коленочками меня сожми, и не только коленочками, я засуну, а ты меня там посжимай, поласкай, ну, котенок, ты же умеешь... Ах ты, сладко-то как!.. Ага, во-от так, и попкой поерзай, как мне нравится...

Он почему-то всегда сопровождал словами все, что между ними происходило в минуты близости; наверное, это было ему так же приятно, как смотреть на то, как она, голая, жарит картошку. Сначала Марусю смущало, что он вслух пересказывает, что делает она и что делает он сам, как будто комментирует футбольный матч. А потом она привыкла, и даже когда его фразы становились отрывистыми, до грубости откровенными, она не обращала на это внимания. Она к другому не могла привыкнуть: что он действительно хочет ее, и хочет так страстно. Он, сильный и красивый мужчина, ее, невзрачную девчонку, на которую ни разу даже не взглянул ни один одноклассник... А слова – что ж, ведь это только слова, и пусть он произносит их, если это помогает ему любить ее.

К тому же она боялась, что он догадается о других ее сомнениях и страхах... После слов и ласк у Толи, конечно, наступало то, что и должно было наступать, и происходило это всегда бурно – со скрежетом зубов и судорожными рывками всего его сильного тела. Марусе же всегда было в этот момент не приятно, а только грустно. Ей было так хорошо от его ласк, что, когда они заканчивались, хотелось плакать. Она понимала, что и сама должна достигать в этот момент

вершины наслаждения. Она даже специально прочитала несколько любовных романов, чтобы разобраться, что же с ней должно происходить, и эти последние минуты назывались в них именно так – вершиной наслаждения. Но ничего подобного с нею не происходило; было только жаль, что все кончается.

Это и сейчас было так. Когда, откинувшись спиной на стол – тот покосился и закрипел под натиском его широкого тела, – Толя выгнулся дугой и забился в горячих судорогах, Маруся замерла, сжимая коленями его бедра, и подумала, что сегодня все кончилось совсем быстро, наверное, потому, что он выпил полный стакан коньяка. Она заметила: если возбуждение наступает у него после выпивки, то всегда завершается почти мгновенно. Маруся не понимала, почему это так, ведь вообще-то Толя мог выпить в одиночку бутылку водки, даже две, и при этом крепко держался на ногах.

Но разве стоило думать об этом с такой вот секундомерной точностью? Ему было хорошо с ней, а все остальное не имело значения.

– Умница, малыш, – отдышавшись, сказал Толя. – Ох, е-мое, спину схватило... А говоришь, не старик! – Он засмеялся, потирая поясницу. – Вот кончат тебя научу, и можно на половой покой уходить. Ты чего покраснела? Застыдилась, что кончать не умеешь?

– Тебе это... неприятно? – с трудом выговорила Маруся.

А она-то думала, он не замечает!

– Да ну, Манюшка, это ж я просто так сказал, что старик! – снова засмеялся Толя. – Так-то старческих комплексов у меня пока, слава аллаху, нету. Думаешь, переживаю, что тебя удовлетворить не могу? Да ты же маленькая еще, я ж понимаю. Все придет, не волнуйся. Темперамент у тебя вообще-то приличный. Я из тебя со временем такую бабу сделаю, сама себя не узнаешь. Не-ет, кошечка, не одевайся! – Он перехватил ее руку, заметив, что Маруся потянулась к своим лежащим на полу коротким ситцевым брючкам. – И я голый посижу. Будем приятно выпивать и приятно друг на друга любоваться. А там, смотришь, и повторим. Между первой и второй промежутком небольшой!

Толя весело подмигнул Марусе и подлил «Мартини» в ее стакан, хотя она отпила всего глоток. Сам он, как только высвободился из ее объятий, хлебнул еще

коньяку и еще больше повеселел.

- Знаешь, я, наверное... - начала было Маруся.

И тут в дверь позвонили – раз, другой, третий. Звонки были хотя и частые, но не тревожные, какими вполне могли бы показаться неожиданные ночные звонки, а какие-то разухабистые.

- Кого еще несет? – удивился Толя и, неторопливо натянув штаны, босиком прошлепал в прихожую. – Кто там? – слышался оттуда его голос.

- Свои! – глухо и весело раздалось за дверью.

- Свои все дома, – ответил Толя.

Впрочем, его ответ тоже прозвучал весело, и тут же щелкнул, открываясь, замок. Маруся схватила с пола одежду, натянула брюки. Топик второпях наделся задом наперед, про трусы она вовсе забыла, и, спохватившись, затолкала их между спинкой и сиденьем дивана.

Прихожая наполнилась мужскими голосами, топотом тяжелых ног, шорохом одежды.

- Принимайте гостей, хозяева! – донеслось до Маруси. – Вы как вообще, принимаете старых друзей или?..

- Принимаем, принимаем, – добродушно ответил Толя. – Вообще-то, пацаны, могли и позвонить, предупредить, руки б не отсохли.

- Да ладно, Толян, че ты вообще, крутой босс стал, без вызова не входить? Мы ж не на хвост падаем, все с собой принесли.

Гостей было пятеро. Кухня в старом доме была не очень маленькая, но они сразу заполнили ее, казалось, до потолка – рослые, плечистые, шумные. Двоих Маруся знала – Толины бывшие сослуживцы, они уже бывали здесь. Трое были ей незнакомы, но, наверное, Толя знал и их. Все они были пьяные, Маруся сразу это поняла, но это не удивило ее и не напугало, как и само появление шумной

компании среди ночи. Мама брала ее с собой на тусовки лет с пяти, и Маруся привыкла, что гости приходят и уходят без предупреждения в любое время суток, к тому же вполне может оказаться, что это не гости, а хозяева, решившие наведаться в собственную квартиру, в которую они месяц назад пустили друзей, да почему-то об этом позабыли. Правда, когда мама сошлась с Сергеем, Марусины походы на тусовки почти прекратились. Сергей не то чтобы запретил брать ее с собой – на любые запреты Амалия реагировала так бурно, что эффект мог оказаться прямо противоположным. Но всегда почему-то получалось, что в тот самый день, когда мама уезжала по своим делам в Москву, он собирался повести Марусю в театр – уже взял билеты; или привозил для нее книжки – конечно, ей хотелось почитать их сразу же; или покупал новый телевизор, который можно было смотреть, а не только слушать по нему звук без изображения, как в старом, – и ясно же, что Марусю не оторвать было от мультиков про Карлсона и Каштанку... Иногда с его появлением происходило вообще что-нибудь необъяснимое – например, поднималась вдруг ужасная метель, и тут уж даже безропотная бабушка противилась тому, чтобы Амалия тащила ребенка с собой из Туракова в Москву.

Но, как бы там ни было, безалаберной, цыганской жизнью Марусю было не удивить. Поэтому сейчас ей только стало ужасно жалко, что отменяется так счастливо начавшийся вечер, который они собирались провести вдвоем...

Толя если и переживал об этом, то внешне своего переживания никак не выказывал. Кажется, он обрадовался появлению гостей вполне искренне. Маруся давно заметила, что он вообще любит хорошую компанию, даже не очень знакомую, и мгновенно становится ее душой. А эта компания была ему отлично знакома.

– И ты знакомься, малыш, – сказал он. – Колян, Гоша, Серега. Ну, Витька и Костяна ты знаешь.

– Что ж ты, командир, как мальчишек нас даме представляешь? – засмеялся Колян. – Я Николай Палыч, будем знакомы. А вас как зовут, юная леди?

– А она у меня Манюшка, – ответил Толя. – И ты на нее, Коляныч, не зыркай и закидончики свои брось, понял?

– Ну ты даешь, полковник! – хмыкнул Коляныч. – Я что, совсем без понятия, у друга девчонку отбивать?

– Знаю, что с понятием. – Жесткие интонации в Толином голосе сразу сменились добродушными. – Это я так, для порядка. Пошли в комнату, мужики, закусим, чем Бог послал! Стол с собой тащите, там нету.

Толя снял эту квартиру еще до того, как сошелся с Марусей. В последнее время он часто говорил, что вдвоем в одной комнате тесно и надо найти другое жилье, попросторнее. Но дальше разговоров дело не шло: то он был с утра до вечера занят у себя на фирме, то вдруг уезжал в командировку, то временно кончались деньги, а квартира сдавалась только с оплатой за полгода вперед... Впрочем, Марусе не было бы с ним тесно, даже если бы они ютились в собачьей будке. И даже не потому, что в ее тураковской развалюхе потолок можно было достать рукой и она к этому привыкла, а потому, что ей вообще не могло быть тесно с Толей. Ей не только ночью, но и днем хотелось прижаться к нему как можно теснее, а лучше бы слиться с ним совсем.

Но пятеро шумных и пьяных мужчин в единственной комнате – это было, конечно, многовато. Тем более что, изобразив в первые пять минут подчеркнутую вежливость, про Марусю они тут же забыли. Да и не похоже было, чтобы эти мужчины вообще замечали, нравится или не нравится женщинам то, что они делают. К тому же выпили они явно больше, чем могли выпить незаметно для себя и окружающих, и подчинялись теперь той лихорадочной тяге, которая гонит пьяных в неясном направлении – то ли для того чтобы добавить, то ли для того чтобы просто выплеснуть дурную хмельную силу.

– Не-е, «Хеннеси» мы не уважаем, – поморщился Серега – или, может быть, Гоша? – Паленого много, отравиться можно. Мы теперь «Курвуазье» пьем, вроде пока жалоб не поступало. Как, Толян, уважаешь «Курвуазье»? А ты чего?

Взгляд, которым он посмотрел на Марусю, поставившую перед ним блюдечко с икрой, был полон заторможенного недоумения. И это почему-то показалось Марусе таким обидным, как будто он швырнул блюдечко ей в лицо. Хотя ничего особенного в его пьяной заторможенности не было.

– Я ничего, – сердито сказала Маруся. – Я вам закуску предлагаю.

Недоумение сменилось в его глазах злостью. Этому тоже удивляться не приходилось: Маруся прекрасно знала, как быстро меняется настроение у пьяных. Но все-таки она поежилась, как будто его бессмысленная злоба окатила ее холодной волной.

– Я те че, пацан? – процедил Гоша-Сергеа. – Сам разберусь, жрать мне или пить, поняла? Я закуску вообще не уважаю, поняла?!

Последние слова он выкрикнул совсем уж яростно.

– Все, все, Игореха, не заводись. – Николай примирительно похлопал его по плечу. – Невежливо так с хозяйкой.

– Хозяйка, блин! – буркнул тот. – Пускай не лезет, понятно? Мне такая хозяйка всю жизнь поломала, сука, с лучшим корешем моим спала у меня под носом! И эта туда же – заку-усывай, нечего пустую водяру жрать!

Маруся прекрасно знала, как надо воспринимать логику вдребезги пьяного человека: без удивления, как дождь осенью и снег зимой. И уж точно, что на подобное не стоит обижаться. Но, зная это, она вдруг почувствовала, что у нее щиплет в носу и слезы сжимают горло. Она покосилась на Толю, но тот вряд ли слышал высказывание своего гостя, потому что как раз в этот момент под возгласы: «Давай нашу, командир!» – расчехлял гитару.

Толя вообще не смотрел в ее сторону; было что-то нарочитое в его невнимании, нарочитое и до невозможности обидное. И даже песня, которую он запел глубоким своим, бархатным голосом, звучала для Маруси обидно. А почему, совершенно непонятно: у нее ведь всегда голова кружилась от звуков его голоса и от того, как, сильно и очень чувственно, плясали по гитарным струнам его пальцы. В такие минуты ей хотелось самой стать гитарой, и чтобы его пальцы прикасались к ней, и голос его звучал бы в такт этим прикосновениям...

И почему вдруг вместо всего этого ей хотелось сейчас плакать?

«Дура потому что, – сердито подумала Маруся. – Того и гляди истеричкой стану».

Женщин, готовых в любую минуту закатить истерику по причине неожиданного творческого кризиса, или из-за непонятности миром примитивных людей, или из-за нечуткости мужчин, или еще по какой-нибудь глобальной причине, Маруся перевидала достаточно и вовсе не хотела им уподобляться. Но слезы сдержала с трудом.

Веселье тем временем шло своим чередом. Песня про родное спецподразделение – какая-то замысловатая рифма была в ней к этому слову, – сменилась другой песней, про костер и мокрую палатку, в которой спят друзья. Потом петь перестали и только пили, потом Гоша снова закричал что-то про подлых баб, которые ломают жизнь правильным мужикам, и заскрипел зубами, и заколотил кулаком по столу, и даже ударил Николая, пытавшегося его успокоить, после чего Костян и Серега заломили ему руки, поволокли к дивану, на котором как раз перед их приходом Маруся расстелила постель на ночь, и, одетого уложив на эту постель, минут десять продолжали держать, пока он не перестал рваться у них из рук и не захрапел.

Он разметался за спинами у друзей, сидящих у стола, от его подошв отваливались, подсыхая, и падали на простыню комочки грязи... И в этих комочках, почему-то именно в них, Марусе почудилось вдруг что-то такое, от чего слез было уже не сдержать. Она вскочила и выбежала из комнаты.

– Ты что, беременная?

Маруся отняла руки от заплаканного лица и посмотрела на Николая. Тот вошел на кухню незаметно и теперь возвышался над нею как дуб. Какой-то никчемный, лишний и очень назойливый дуб.

– Почему беременная? – шмыгнув носом, глупо спросила Маруся.

– До сих пор не знаешь, почему беременеют? – хохотнул Николай. – Ну дает командир! Связался черт с младенцем.

– Почему вы решили, что я беременная? – совсем уж по-идиотски переспросила она.

– Так пулей же из-за стола вылетела. Я и подумал, блевать потянуло.

– Ничего меня не потянуло, – сердито сказала Маруся. – А вы что, заскучали с друзьями? Что вам от меня надо?

– Та-ак... – насмешливо протянул Николай. – Вот и недовольство покатило. И ведь говорили ему, предупреждали: все бабы одинаковые, им только покажи слабинку, они на шею тебе сядут и ножки свесят. Так нет: моя не такая, на какую еще шею, да она в рот мне смотрит!.. Не сильно ты, я смотрю, в рот-то ему засмотрелась.

– Это вообще не ваше дело. – Маруся услышала свой голос как будто со стороны, и ей показалось, что она слышит какой-то невнятный писк. – Наши отношения вас не касаются!

– Ой, не могу! – Николай посмотрел на нее так, как, наверное, посмотрел бы на муху, если бы та вдруг заговорила. – Девочка, очнись! Какие у тебя с Толиком могут быть отношения? Малая ты еще, так много на себя брать. Чтоб про отношения говорить, с мужиком не в постели надо покувыркаться, а пуд соли съесть, смерти в лицо посмотреть.

В его голосе, до сих пор насмешливом и спокойном, вдруг послышалась злость. Но не та тупая злость, которой не приходилось удивляться в пьяном Гоше, а какая-то совсем другая, не пьяная, а глубокая и непонятная. Маруся вытерла глаза и удивленно всмотрелась в его лицо.

– Чего смотришь? – заметил он. – Думаешь, у мужика, как у тебя, любовь-морковь на первом месте? Не на первом, девочка, и даже не на третьем. Уж насчет этого можешь мне поверить, это я тебе по-дружески говорю, чтоб вовремя от лишних иллюзий избавиться.

Эти слова – про иллюзии, от которых следует вовремя избавляться, – Маруся уже слышала. Ей было тогда пятнадцать лет, и она впервые влюбилась. Он был студентом ВГИКа, и от одной мысли о нем – а думала она о нем все время, когда не видела его из-за лекций или других его важных дел, – у Маруси замирало сердце. До тех пор, пока она случайно не приехала к нему в общежитие немного раньше, чем было договорено, и не застала у него в постели двух голых девчонок. Тогда-то, ничуть не смутившись, он и сказал ей про своевременное

избавление от лишних иллюзий. Это оказалось для Маруси таким ударом, что, если бы не Сергей, неизвестно, чем бы все кончилось. Как Сергею удалось тогда убедить ее, что ей еще встретятся совсем другие мужчины, Маруся сама не знала. И только когда она встретила Толю, то поняла, что про других мужчин, которые могут быть в ее жизни, Сергей говорил правду...

– Как вы заботитесь о моих иллюзиях! – сердито сказала она. – И как хорошо знаете, что у меня на первом месте!

– А чего про тебя знать-то? – усмехнулся Николай и, кивнув на кухонный диван, добавил: – Сначала трусы надень, а потом про отношения высказывайся.

Маруся почувствовала, что у нее краснеют не только щеки, но и уши, и даже губы. Она мгновенно представила, как выглядит сейчас в глазах этого огромного, уверенного в себе мужчины – нелепая, большеротая, похожая на зарезанного воробья... И никчемная.

Неизвестно, чем закончился бы этот разговор, если бы на кухне не появился Толя.

– Ухожу, ухожу, – тут же сказал Николай. – Не буду мешать хозяйке!

Последнее слово он произнес с особенной, выделяющей иронией.

– Что у вас тут? – спросил Толя, когда за ним закрылась дверь.

– Ничего. – Маруся жалобно шмыгнула носом. – Просто он... Знаешь, он... Он сказал, что я слишком много на себя беру и что у меня про тебя... иллюзии.

Ей было стыдно сбивчивых, жалобных и, главное, ябедных интонаций в собственном голосе.

– Вот что, Маня, – сказал Толя; Маруся только сейчас заметила, какой мрачный у него вид. – Девчонка ты, ничего не скажу, хорошая, меня во всем устраиваешь. Но! – Он поднял указательный палец, и по этому странному жесту Маруся с удивлением поняла, что он тоже пьяный, притом такой, каким она никогда его не видела. – Ты! Должна! Знать! Свое! Место! – Он выговорил это с

неестественной раздельностью, от которой удивление сразу сменилось у Маруси другим чувством, и тоже каким-то новым, странным. – Чтоб ко мне друзья пришли, а баба моя рожу кривила – такого в моем доме не будет. Внятно излагаю?

Он излагал даже слишком внятно. Маруся смотрела ему в лицо и не находила ни одной знакомой черты. Перед нею стоял мужчина, которого она совершенно не знала. Желваки ходили у него под скулами; казалось, он пережевывает камни.

– Внятно, – сказала она, не узнавая и собственного голоса тоже.

– Вот и хорошо. Быстро усваиваешь. И запомни: я с этими мужиками пуд соли съел, смерти в лицо смотрел. Я теперь что, должен, «ай-яй-яй», их поругать, что они мне постельку засрали? Думаешь, не заметил, как ты нос воротила от Гошки? Да он в Чечне в плену был, пытки выдержал, не твое соплячье дело его манерам учить!

Камни, которые только что перекатывались под скулами, теперь, казалось, гремели у Толи в горле. Последнюю фразу – слово в слово ту же самую, что и пять минут назад Николай, – он не произнес, а прогрохотал. Кулаки его при этом сжались, и Марусе показалось, если она скажет хоть слово, он ее ударит.

– Испугалась? – Толя заметил ее взгляд на его сжатые кулаки. – Зря. Я баб не бью. Ну, только в крайних случаях, если совсем уж явно нарываю. Но с тобой, думаю, крайнего случая не будет. – И добавил с той же пьяной, но уже покровительственной внятностью: – Будешь человеком, ни в чем тебе отказа не будет. На меня еще ни одна моя женщина не обижалась. Но за друзей я...

Угроза снова слышалась в его голосе, и это вдруг показалось Марусе таким нелепым, что даже ее растерянность прошла.

– Крайнего случая не будет, – сказала она. – Я все поняла.

Кажется, Толя удивился спокойствию, с которым прозвучал ее голос. Но все-таки он был слишком пьян, чтобы из-за такого спокойствия насторожиться.

– Молодец, малыш. – Он кивнул медленно и одобрительно. – Не зря я тебя подобрал.

– Подобрал? – переспросила Маруся.

– А как по-твоему? – усмехнулся Толя. – Не калым же за тебя заплатил. Мамаша тебе ручкой сделала, а отчиму ты, думаешь, сильно нужна была, или, может, мачехе? И свои-то дети, как вырастут, одна морока. А тем более чужие. Плавали, знаем. У моей одной бабы два пацаненка было, я с ней три года прожил, с перерывами, конечно. Пока маленькие были, еще ничего, забавные, типа щенят. А как подросли, начали характер показывать, тут я сразу сказал: все, Катерина, или я, или они. Сдавай бабке с дедом. Или папаша родной пускай забирает. Я из командировки вернулся, мне долечиваться надо после контузии, а им музыку дебильную охота слушать, дни рожденья справляют, друзья таскаются... На хер мне это надо?

– Сдала? – спросила Маруся.

– Угадай с трех раз, – усмехнулся Толя. – А куда б она делась? Детей наплодить – дело нехитрое, а мужики, малыш, на дороге не валяются, их руками-ногами и всеми интимными местами держать надо. Заруби это на своем маленьком носишке, счастливую жизнь проживешь.

«Как та твоя женщина?» – чуть не спросила Маруся.

Но спрашивать, сумела ли та женщина удержать мужика, избавившись от своих детей, было бы глупо. Год, который Толя прожил не с ней, а с Марусей, явно свидетельствовал о том, что не сумела. Хотя, может быть, этот год был просто очередным временным перерывом в его прежней, привычной жизни?

Эта мысль, от которой день – да что там день, час назад! – Маруся пришла бы в ужас, теперь прокатилась у нее в голове медленно и как-то вяло, не вызвав даже удивления. Да и что такого особенного она услышала? Примерно то же говорила об отношениях с детьми мама. Хотя при этом и не считала, что мужчин надо держать руками и ногами.

– У меня своя жизнь, – говорила она пятилетней Марусе. – А у тебя должна быть своя. Тогда у нас будут доверительные отношения свободных людей, а не

психопатские кошачьи инстинкты.

– Инстинктами только кошки и собаки живут, – сказал Толя; Маруся вздрогнула. – А человек головой должен думать. Так что, малыш, подумай своей молоденькой головушкой и прикинь, что тебе дороже, чистая постелька или нормальный мужик. Вот посиди тут одна и подумай хорошенько.

Удивительно, как много интонаций могло быть в пьяном голосе! Последние слова Толя произнес уже не угрожающе и не покровительственно, а назидательно.

– Я уже подумала, – сказала Маруся, вставая.

– Хорошо подумала?

Толя прищурился; Маруся почувствовала, как напряглись его мускулы. Хотя совершенно непонятно было, как она могла это почувствовать: они стояли шагах в пяти друг от друга, к тому же ей казалось, впервые за этот год, что она смотрит на Толю как-то... издалека.

– Да.

– Пожалеть не боишься?

Эти слова он произнес уже ей в спину. Не ответив, Маруся вышла из кухни.

Глава 2

Ей всегда казалось, что Рождественский бульвар дышит Рождеством.

Именно таким странным словом – дышит – Маруся думала про эту улицу. Когда она была совсем маленькая, то считала, что Москва – это и есть Рождественский бульвар; все остальное оставалось в ее сознании размытым пятном. В то время мама почти каждый день позировала художникам, потому что ее картины

совсем не продавались и денег не было даже на корм бабушкиной козе, то есть на молоко для Маруси. На огромном чердаке старинного дома на Рождественском бульваре размещалось много мастерских, поэтому Амалия бывала здесь несколько раз в неделю. И часто брала с собой Марусю. Чердачные мастерские выстывали с первыми осенними холодами так, что казалось, уже наступила зима и вот-вот наступит Рождество. Этот праздник мама отмечала, а про Новый год говорила, что это совковая пошлость, о которой ребенку лучше вообще не знать, если он хочет вырасти личностью. Таким и остался Рождественский бульвар в Марусиной памяти – осенний звонкий холод, зимний праздник и мамина ослепительная красота.

О том, что ее мама очень красивая, Маруся услышала в шесть лет от бородатого художника дяди Бори, к которому Амалия ходила особенно часто, потому что он платил больше других. До этого Маруся как-то не замечала маминой красоты – вернее, считала, что это само собой разумеется.

– Амалия, пожар мужской души! – воскликнул однажды дядя Боря, отойдя на три шага от маминого портрета, который он писал весь день. – Богиня античная, королева французская, не уловить твоей ослепительной красоты кистью жалкого мазилы!

– Ах, сколько пафоса! – усмехнулась мама. – А ты уверен, что античные богини и французские королевы были ослепительные? Сомнительно.

– Зато ты – несомненно, – с той же торжественной интонацией заявил он. – Одно у меня в связи с тобой сомнение: в музей тебя надо поместить, чтоб на твою божественную красоту мужчины только издали любовались, или в миру оставить, чтоб они от тебя зажигались страстями?

– Зажигались! – Амалия поморщилась то ли от его тона, то ли от своих вонючих дешевых сигарет и набросила на голые плечи большую шелковую шаль. – Мужская самоуверенность просто не знает границ. Я вам что, спичка? Смотрите, не обожгитесь.

– О такую и обжечься не жалко. – Дядя Боря провел ладонью по маминому бедру, но тут же отдернул руку, оглянулся на Марусю и недовольно поморщился. – Зачем ты ее сюда таскаешь?

- Пусть привыкает. Неизвестно, что ее в жизни ждет. Может, только натурщица и получится. Не всем же с самореализацией везет.

В маминых огромных темно-серых глазах сверкнули молнии, и от этого глаза еще больше стали похожи на грозовые тучи.

- Из нее - натурщица? - Дядя Боря скептически оглядел Марусю. - Это вряд ли. Воробей большеротый, не в мамочку удалась. Она у тебя, кстати, от кого?

- От итальянца.

В мамином голосе послышалось что-то вроде обиды, и Маруся очень удивилась. Амалия всегда держалась по отношению к ней с подчернутой бесстрастностью, поэтому странно было, что она обиделась на замечание в дочкин адрес.

- От Марио, что ли? - удивился дядя Боря. - Так он же вроде пидор?

- Ну, во-первых, он двустволка, а во-вторых, вообще ни при чем. Он же только в прошлом году в Москве появился. А Маруське шесть лет.

- Больше четырех не дашь.

- Потому что не жрет в три горла в отличие от некоторых. - Амалия похлопала по дяди-Бориному волосатому животу, выпирающему из-под заляпанной красками майки. - Она у меня от итальянского итальянца. Я же в Падуе год прожила после училища. Совершенствовала свое великое дарование! - усмехнулась она. - Вот и усовершенствовала.

- Аборт, что ли, не могла сделать? - хмыкнул дядя Боря. - Дуры вы, бабы, одно блядство на уме. Я б вас к искусству на пушечный выстрел не подпускал, оно вам на хер нужно. А чего папаше ее не сплaviшь? Итальяшки чадолюбивые, может, и взял бы.

- Да пошел он! - зло сказала Амалия. - Пусть свое семейство облизывает, пердун старый. И вообще, надоели мне благодетели постельные, понял, Борюсик? Вы у меня в ногах будете валяться и за счастье считать, что я вам в одной комнате с собой дышать позволяю. Такие у меня с вами будут отношения.

– Ну-ну, – покрутил головой дядя Боря. – Успехов тебе, красавица. Только пока такого счастья на твоём горизонте что-то не просматривается.

– Что пока – неважно. Суть важна. А по сути – или так, или никак. Лучше с голоду сдохнуть, чем у вас кусок хлеба выпрашивать. Все, хватит! – Амалия повела плечами, сбрасывая на пол шаль, и встала. – Гони бабки за сеанс, Леонардо хренов.

Она стояла на помосте посередине мастерской совсем голая, её белое тело сияло в свете двух ламп, темно-русые волосы густой гривой падали на покатые, как у мраморной Венеры, плечи, глаза горели мрачным огнём... В эту минуту Маруся и поняла, что означали дяди-Борины слова «ослепительная красота».

Что означали мамины слова – про мужчин, которые будут считать за счастье дышать в одной комнате с нею, – Маруся поняла позже... Когда в маминой жизни появился Сергей Ермолов.

Маруся вышла на Рождественский бульвар и огляделась, как будто не знала, направо идти или налево. Впрочем, так оно и было. Она в самом деле не знала, куда идти, и дело было, конечно, не в направлении.

«Что там богатырь в сказке выбрал? – подумала она. – Пойти направо – коня потерять, пойти налево – убиту быть...»

Сказку про богатыря на распутье она впервые услышала в восемь лет, когда Сергей привез ей огромную книгу с необыкновенными картинками, которые почему-то показались Марусе страшными, хотя были сказочно красивы. Она весь вечер открывала волшебную книжку и тут же закрывала: боялась картинок. Сергей заметил это и прочитал Марусе книгу сам. Когда читал он, и он же перелистывал плотные страницы, то картинки – Сергей сказал, что их нарисовал Васнецов, – переставали быть страшными и манили так, как будто они были магнитом, а Маруся железным лепестком.

Только с ним Маруся могла отпустить на свободу свое воображение, которое в одиночестве всегда пугало ее причудливыми, необъяснимыми образами. При Сергее все эти образы не становились менее причудливыми, но их почему-то можно было не бояться, а смотреть внутри себя бесконечно, как никому не видимый фильм. Почему так, Маруся не знала. Она и не говорила ему никогда

про эти образы, но ждала Сергея с еще большим нетерпением оттого, что с его появлением они начинали приносить не страх, а счастье.

Сейчас, в стылой октябрьской тьме пустынного ночного бульвара, это вспомнилось совсем некстати. Настолько некстати, что Маруся чуть не заплакала. И тут же почувствовала, как в груди у нее поднимается обжигающая обида – необъяснимая, может быть, неправильная, но острая, как нож.

«Зачем ты мне все это... показал? – глотая слезы, подумала она. – Жизнь совсем другая, и мужчин таких, как ты, больше нету, и... И ничего нету!»

Маруся быстро прижала к глазам холодные пальцы. Она всегда так делала, чтобы слезы не успели пролиться, и всегда это помогало. Ни рыдать, ни тем более вообразить себя богатырем на распутье было ни к чему. Надо было просто решить, где она проведет эту ночь.

Маруся перебежала бульвар и вошла в арку высокого серого дома. В подвале этого мрачноватого здания находилось кафе, которое вечерами работало как клуб «для своих». Вообще-то, по начальному замыслу, оно и весь день должно было работать именно так, но уже через месяц после открытия имидж пришлось уточнить, чтобы не разориться. Поэтому весь день, как со вздохом говорила хозяйка, кафе являлось обыкновенной быдлярской забегаловкой и только к вечеру становилось тем, для чего и было предназначено, – богемным клубом под названием «Без названия».

Остановившись перед подвальной дверью, Маруся извлекла из своей бездонной сумки, похожей на холщовый мешок, длинный латунный ключ. Такие ключи когда-то были выданы тем, кто имел право посещать кафе вечерами. Амалия была в их числе, и после ее отъезда ключ достался Марусе. Правда, она ни разу не воспользовалась этим ключом, потому что заходила в кафе только днем, и то когда Толя уезжал в командировки. Готовить для себя одной ей не хотелось, а здесь была недорогая еда.

Достаточно было одного взгляда на это заведение, чтобы понять, что богемность – это вообще недорогое удовольствие. Стены подвала были попросту побелены, притом не слишком аккуратно, столы, стулья и лавки из некрашеного дерева кое-где застелены холстиной, абажуры немногочисленных светильников сделаны из коричневой оберточной бумаги, отчего в зале стоял полумрак. В углу

почти до потолка возвышался помост, по которому были разбросаны пестрые подушки. На помост можно было забраться по стремянке, и предназначался он, видимо, для тех посетителей, которые почему-либо задерживались на ночь. Сейчас на подушках спали два паренька в круглых, расшитых бисером и шелком шапочках, похожих то ли на узбекские тюбетейки, то ли на еврейские кипы.

«Ну и я переночую, места хватит», – подумала Маруся.

Но эта мысль не улучшила ей настроения, потому что в отличие от Амалии она не испытывала к богемной жизни ни малейшего пристрастия.

Неожиданно она почувствовала, что хочет есть, и сама этому удивилась. То есть, конечно, удивляться не приходилось, она ведь не успела поужинать. Но Марусе казалось, что в ее нынешнем душевном раздрызге такие примитивные желания не должны были бы ее посещать.

«Незамысловата я, правду мама говорила», – подумала она.

Но в животе урчало, и, несмотря на обидность мысли о собственной примитивности, Маруся направилась к стойке, чтобы выбрать еду. Правда, выбирать особо не пришлось: денег хватило только на пару бутербродов и минеральную воду. Жалко, что не хватило даже на бокал вина, чтобы хоть немного затуманить голову, выбросить из нее ненужные мысли и воспоминания. Но, в конце концов, можно обойтись и без этого. Мама никогда не переживала даже из-за отсутствия самого необходимого – говорила, что человек с богатым духовным миром может обойтись практически безо всего. Маруся не считала свой духовный мир богатым, но насчет обхождения безо всего была с мамой согласна. Она не знала, как называется то, без чего в жизни обойтись нельзя, но точно знала, что это не деньги, не еда и даже не вино в час тоски.

Маруся села за столик, задвинутый в неглубокую нишу. Она не понимала, что произошло. То есть все было, конечно, понятно: она ушла от мужчины, потому что он повел себя с нею по-хамски. Она другого не понимала – того странного смещения мира, которое случилось мгновенно, буквально в одну секунду, в ту самую, когда Толя с пьяной отчетливостью проговорил, что она должна знать свое место, и она поняла, что перед нею стоит совершенно не тот человек, которого она знала целый год. Не тот, в которого она была влюблена до полного, счастливого самозабвения.

С детства живя среди маминых друзей, Маруся видела так много болезненных вывертов человеческой натуры, что удивить ее ими было вообще-то невозможно. И сейчас ее мучило даже не само по себе хамское Толино поведение, а другое: вот это мгновенное изменение мира – как будто между нею и мужчиной, без которого она только что не мыслила своей жизни, вдруг появилось особенное, искажающее стекло. Эта мгновенность испугала ее, потому что, значит, так может произойти в любую минуту, и произойти со всем, из чего состоит жизнь? Вот только что ты любила человека, жить без него не могла, а секунду спустя смотришь на него и уже не понимаешь, как могла его любить, как могла жить с ним, совершенно тебе чужим, и знаешь, что пяти минут не проведешь с ним больше под одной крышей... Наверное, это какой-то неизбежный, какой-то главный закон жизни – вот эта мгновенная перемена взгляда? Но как же жить, как любить, зная, что это неизбежно?

– Милая девушка, видно, совсем у вас дела плохи, – вдруг услышала Маруся.

От неожиданности она чуть не выронила стакан с минералкой. Хотя что такого уж неожиданного? Просто задумалась и не заметила, как за ее столик уселся какой-то человек. А теперь этот человек зачем-то обращается к ней, но этому тоже удивляться не приходится, потому что если не хочешь, чтобы к тебе обращались посторонние, то сиди дома на кухне, а не в богемном клубе.

– Почему вы так решили? – пожала плечами Маруся.

– Потому что у вас в глазах такое отчаяние и смятение, как будто вы не воду пьете, а чистый спирт.

– Может, я и пью спирт, – заметила Маруся. – Он же на вид от воды не отличается.

– Уж спирт с водой я как-нибудь не перепутаю, – улыбнулся ее неожиданный собеседник. – Ни на вид, ни на цвет, ни, естественно, на вкус. Разве по мне не заметно? – Он кивнул на стакан водки, стоящий перед ним, и по-особенному сморщился – так, что многочисленные складки на его лице сложились в ужасно смешную гримасу. – Я в одну женщину был безнадежно влюблен и знал, что безнадежно, но расстаться с ней не мог. А знаете почему? Потому что глаза у нее были – чистый спирт. И на цвет, и на ощущение.

Невозможно было представить женщину с глазами цвета спирта, но он сказал об этой женщине так, что Маруся представила ее мгновенно. Хотя, если бы ей пришлось нарисовать эти глаза, она не знала бы, какую выбрать краску.

- И что, не расстались? - улыбнулась она.

- Расстался, милая, расстался.

- Ничего я не милая, - сердито сказала Маруся.

Да что же это такое, неужели с ней иначе как снисходительным тоном и разговаривать нельзя? Как... с воробьем каким-то!

- Кто это вам сказал? Очень даже милая. Глаза у вас карие, глубокие, а в глазах золотые огоньки, а в них вся милота и есть.

- Как смерть у Кашея Бессмертного. - Маруся все-таки произнесла это сердитым голосом, хотя его слова показались ей приятными; она ни от кого не слышала о себе ничего подобного. - Иголка в яйце, а яйцо в утке, а утка еще в чем-то там запрятана.

- Вы зря стараетесь выглядеть сильной. Если женщина такая, знаете, палец в рот не клади, то это сразу видно. И если не такая, тоже не скроешь.

- А я, по-вашему, слабая?

- А что вас так обижает? Между прочим, по всем социологическим опросам, сильных людей в любом обществе не больше десяти процентов. И ничего, остальные девяносто прекрасно себя чувствуют. Выполняют волю сильных и живут припеваючи.

- Сильный человек, надо думать, это вы, - усмехнулась Маруся. - И в ближайшие пять минут вы мне начнете излагать свою волю.

- Боже упаси! Я человек пожилой, старомодный. Поэтому в ближайшие пять минут я вам просто представляюсь. Имя у меня прямо из анекдота - Петр Иванович Сидоров. Будем знакомы.

– Мария, – вздохнула Маруся. Куда было деваться от его вежливости? К тому же он в самом деле был немолод, поэтому послать его подальше, как назойливого мальчишку, было как-то неловко. – Мария... Климова.

– Маруся Климова? – обрадовался Петр Иванович. – Надо же, а я думал, смешнее, чем мое, имени не бывает!

– И ничего смешного, – буркнула Маруся. – Вы Петр Иванович Сидоров, я Мария Павловна Климова. Что тут такого?

– Весь вечер на манеже Маруся Климова! – воскликнул он. – Звучит, а?

– При чем тут манеж? – удивилась она.

– Манеж тут при том, что я на нем работаю. Я клоун, – торжественно объявил Петр Иванович. – В Цирке на Цветном бульваре. И вы меня там наверняка видели.

– Я в цирке была в восемь лет, – пожала плечами Маруся. – Может, тогда вас и видела. Но не запомнила.

– Быть не может, чтоб не запомнили, – обиделся клоун. – Значит, я в тот раз не работал. Ну да ладно, Маруся Климова, сейчас не обо мне. У вас, я вижу, что-то печальное в жизни случилось. И что же?

– Не случилось, а произошло, – невесело улыбнулась Маруся. – Случается то, что случайно. А со мной все закономерно.

– Так что, что? Любимый бросил?

Вообще-то Маруся не испытывала той потребности, которую испытывают в тяжелые минуты жизни многие люди: излить душу незнакомому человеку. Но этот человек со смешным лицом, полностью состоящим из подвижных морщин и складок, почему-то вызывал именно такое, несвойственное ей желание: рассказать, что с нею случилось. Тем более что он сам же об этом и спросил.

– Не бросил, – вздохнула Маруся. – Я от него сама ушла. Но дело не в этом.

– А в чем?

– В том, что он как-то... в одну секунду перестал быть любимым, понимаете? Я его очень-очень любила, просто ужасно. – Маруся даже зажмурилась. – И вдруг все исчезло. Я думала, так не бывает, и вдруг так стало. И мне стало очень плохо.

– Если бы я был психоаналитиком, – сказал Петр Иванович, – таким, знаете, серьезным специалистом, то посоветовал бы вам разобраться в своих чувствах. Так ли уж вы его любили, правда ли разлюбили, не захотите ли вскоре к нему вернуться, ну и так далее. Но поскольку я не серьезный аналитик, а клоун и легкомысленный человек, то я вам другое посоветую: плюньте и забудьте.

– Спасибо за совет, – улыбнулась Маруся.

– Зря смеетесь. Вам сколько лет, восемнадцать есть уже?

– А что, не похоже? Могу паспорт показать.

– Мне твой паспорт без надобности. Просто подумай: а чего ты вообще-то хотела? В детские годы встретить человека и с ним одним всю жизнь прожить? Да это же скука смертная, Маруся Климова! В твоём возрасте женщина должна менять мужчин как перчатки.

– Я не ношу перчатки, – сказала Маруся. – Мне в них рукам тесно.

– Необычная ты девочка, – покрутил головой клоун. – Нет, ей-богу, даже для меня необычная, хоть я всяких навидался. Тебе ночевать-то есть где? – деловито поинтересовался он.

– Есть, – торопливо соврала Маруся.

Не хватало еще, чтобы он позвал ее переночевать у него в кровати!

– А то можешь у меня переночевать, – без лишней оригинальности предложил клоун. – В гардеробной. Ну, в цирковой гримерке. – И догадливо добавил: – Не бойся. Я, деточка, давно уже заслуженный импотент по причине душевной любви к алкоголю. Так что твои молодые прелести мне без надобности.

– Тогда зачем приглашаете?

– Да просто так! – засмеялся он. – А что, ты все делаешь только с великой целью? Понравились мне твои золотые глазки, вот и хочу выручить по-дружески.

Может, он врал, как, Маруся знала от мамы, всегда врет мужчина, чтобы получить в свое распоряжение приглянувшуюся женщину. А может, и не врал. Что мужчина может не врать, Маруся знала уже не от мамы, а от Сергея. Он никогда не говорил с нею об этом – он просто не врал ей, и потому она знала, что так тоже бывает.

– Вообще-то это кстати, – вздохнула Маруся. – Ночевать мне и правда негде.

– Приезжая?

– Из ближнего Подмосковья.

– Родителей нет?

– Родители... есть, – после некоторой заминки сказала Маруся. – Но я к нему идти не хочу. То есть не могу, потому что... В общем, не могу.

– Да не смущайся ты, – пожал плечами клоун. – Поссорилась с папашей, ничего особенного, с кем не бывает. Пошли. – Он махом допил водку и поднялся из-за стола. – Устала ты, вид заморенный. Тебе выспаться надо, а потом уж планы строить.

Гардеробная, в которую клоун Сидоров привел Марусю, сначала показалась ей обычной комнатой. Ну, или не более необычной, чем любая художественная мастерская, которых она перевидала немало. В мастерских во множестве стояли мольберты и пахло красками, а здесь стояли какие-то пестрые ящики, висели разноцветные костюмы и пахло... А вот пахло здесь чем-то особенным, неопределимым, и от этого непонятного запаха Маруся почувствовала, как что-то вздрагивает у нее в сердце. Она немножко удивилась этому, потому что, когда она была маленькая и Сергей повел ее в цирк, то ничего подобного она не испытала. Было красиво, ярко, шумно, но чтобы сердце замирало – такого не было совсем.

В цирк он повел ее через месяц после того, как впервые переночевал у мамы. Каждый день этого месяца Маруся ожидала, что вот сегодня Сергей наконец скажет: «Все, Мурка, больше я к вам не приеду». Или вообще ничего не скажет, просто не придет, и все. Нервы ее были напряжены, ночами она плакала, и все красивые предметы, которые он дарил – книжки, куклы, краски в деревянном сундучке, – казались ей такими же призрачными, как все красивые места, в которые он ее водил, – театр, или сияющий темным золотом ресторан «Метрополь», или вот этот Цирк на Цветном бульваре, которого она почти не запомнила со всеми его яркими огнями и необычными запахами.

Теперь все было по-другому. И, может, не стоило удивляться, что запах цирка на этот раз взбудоражил ее воображение.

– Вот здесь и располагайся. – Петр Иванович обвел свои не слишком просторные владения широким приглашающим жестом. – Диванчик хоть и старый, но много счастливых снов на нем увидено, авось и ты не заскучаешь. – И, заметив на Марусином лице улыбку, поинтересовался: – Что смеешься?

– Нет, ничего... Просто я как Каштанка, – объяснила она. – Каштанка потерялась, ее подобрал на улице старый клоун и научил выть под дудочку.

– Я тебя в кафешке встретил, а не на улице.

– Неважно. Все равно же подобрали.

– Утро вечера мудренее, – вздохнул он. – Банальность, но чистая правда. Завтра сама убедишься.

Петр Иванович ушел. Маруся огляделась. Все-таки эта гардеробная отличалась не только от обычных комнат, но и от художественных мастерских. Она даже поняла, с чем связано это ощущение: в гардеробной было много предметов, явно предназначенных для чего-то необычного. На тумбочке в углу лежали сразу три таких предмета – огромный, с человеческую голову, зуб, бутылочка для кормления младенцев, в которую могло бы поместиться не меньше двух ведер молока, и блестящие ножницы метровой длины. При виде зуба Марусе стало немного не по себе: в ее собственном боковом зубе давно уже появилась дырка, она в очередной раз опасливо пощупала ее языком. Но вообще-то и бутылочка, и ножницы, и даже зуб были не страшные, а смешные, потому что какие-то... преувеличенные. Не только по размеру.

Маруся выключила свет и легла на узкий, застеленный старым восточным покрывалом диван. Но уснуть она не могла. Хоть Петр Иванович и решил, что она устала, но она-то знала, что уставать ей было совершенно не от чего. Весь год она жила такой жизнью, которую мама наверняка назвала бы невыносимо скучной, а Маруся считала счастливой. А ведь ни от скуки, ни от счастья не устают. Значит, и от жизни, которую она вела целый год, устать было невозможно. И вот все кончилось, и даже не кончилось, а как-то... вернулось на круги своя; именно так назвала это мама, когда рассталась с Сергеем.

Марусина жизнь тоже вернулась на круги своя. Она снова была одна.

«И хорошо, – подумала она, разглядывая разводы на потолке. Разводы получились, наверное, оттого, что комнату залило сверху, но выглядели они как загадочные знаки. Или как линии на ладони. – Бывают же люди, которые всегда одни. И они самые талантливые!»

Последние слова она подумала так, как будто проговорила вслух с отчаянной запальчивостью.

Про то, что жизнь самых талантливых людей проходит в одиночестве, Маруся с детства слышала от мамы.

– Только глупые клушки боятся одиночества, – говорила Амалия. – Если женщина хоть что-нибудь собой представляет, оно для нее неизбежно.

Маруся точно знала, что ничего собой не представляет, но почему-то получалось так, что, как только ей удавалось убежать от одиночества, оно догоняло ее снова. Одиночество было для нее в самом деле почему-то неизбежно, это надо было осознать и к этому надо было привыкнуть, иначе оставалось только сойти с ума или выпрыгнуть в окошко. Ни сходить с ума, ни прыгать в окошко Маруся не хотела.

В таком состоянии, как сейчас, следовало, конечно, заняться медитацией. Все мамыны друзья так делали, если им надо было решить какую-нибудь проблему или, наоборот, об этой проблеме забыть. То, что сама она совсем не умела медитировать, Маруся считала еще одним признаком своей заурядности, хотя Сергей и говорил ей, что это умение не входит в число необходимых человеческих качеств. Правда, когда она стала жить с Толей, то о медитации забыла вовсе. Толя снисходительно улыбался, когда слышал про что-нибудь подобное, и эта снисходительность его улыбки не обижала Марусю, а, наоборот, придавала уверенности в себе. То, что Толя считал медитацию бабским баловством, делало Марусин взгляд на саму себя не таким унылым.

Воспоминание о Толе пришло совсем некстати. Да, ее поразило то, как мгновенно, в самом деле во мгновение ока, он стал ей чужим. Но говорить об этом со старым клоуном было одно, а думать о том же в одиночестве, разглядывая темные разводы на потолке, – совсем другое.

Но Маруся все-таки думала, и весь этот долгий год – счастливый год, незачем было себя обманывать! – протекал по темным разводам у нее над головой, как река, в которую никогда ей больше не войти.

Идти на выпускной вечер Маруся ужас как не хотела.

– Анна Александровна, не надо ничего покупать. Я лучше не на выпускной, а на следующий день в школу схожу. Думаете, мне без парадного платья аттестат не выдадут? – говорила она.

– Думаю, выдадут. – Жена Сергея была спокойна, как ива в тумане. – Но еще, я думаю, не будет ничего плохого, если этот вечер тебе запомнится.

– Мне не хочется идти.

Она специально сказала это решительным тоном, на который Анна Александровна должна была наткнуться как на безусловную преграду. Прожив в доме Ермоловых год, Маруся успела понять, что эта женщина никогда не переступает черту, за которую ее не хотят пускать. Однажды, например, Маруся слышала, как она спросила у Сергея:

- Ее мама не говорила тебе, от кого родила Марусю?

Сергей промолчал - просто не ответил, и все. И Анна Александровна больше не спрашивала. Известно ли Сергею, от кого она родилась, Маруся и сама не знала. Но то, что его жена никогда не станет ломиться в дверь, которую перед нею закрывают, она с тех пор узнала наверняка.

Это было удобно. Маруся не собиралась откровенничать с Сергеевой женой.

Она и сама не понимала, почему это так. Вернее, наоборот: умом она прекрасно понимала, что такая женщина, как Анна Александровна Ермолова, заслуживает одного только восхищения. Муж привел в дом совершенно постороннюю девчонку, и даже не постороннюю, а дочку своей бывшей любовницы. Характер у девчонки не сахар - замкнутая, невеселая, настороженная. И вот эта женщина, которой и так, наверное, нелегко далась восьмилетняя мужнина связь, возится с такой девчонкой, и устраивает ее в школу, и берет ей репетиторов, потому что последние полгода той было не до учебы и она запустила все предметы, да и прежде была не слишком прилежной ученицей, да и тураковская школа сильно отличалась от московской... И покупает этой неприветливой девчонке красивые платья, и осторожно спрашивает, почему у нее по утрам опухший нос и глаза заплаканные... Всем этим, безусловно, надо было восхищаться. Но Маруся не восхищалась, а изо всех сил старалась держать Анну Александровну на расстоянии.

Ну а если не умом, а чувствами - она, конечно, знала, почему это так. Точнее, помнила, как поразила ее эта женщина, когда она увидела ее впервые. И даже не сама она поразила - во внешности Анны Александровны не было ничего, что могло бы поразить воображение. Она была самая обыкновенная: сорокалетняя, стройная, русоволосая и сероглазая, очень просто и, наверное, очень недешево одетая. Женщина как женщина, ничего особенного. Разве что вкус у нее был особенный, отмеченный такой утонченностью, которой Маруся никогда прежде не знала. Она поняла это, когда однажды увидела в ее спальне букет. Это был

простой букет из полевых цветов, но он был составлен так, что сразу притягивал и взгляд, и воображение. Даже ковер на полу был куплен, казалось, не сам по себе, а в тон этому неяркому букету.

Но все-таки Марусю поразило в Сергеевой жене, конечно, не ковер и не букет, а совсем другое... Глядя в спокойные глаза Анны Александровны, она вдруг поняла, что эта женщина была в жизни Сергея всегда. Конечно, Маруся и раньше прекрасно знала, что у маминого любовника есть семья – жена, сын, мать. Но все, что было связано с его семьей, являлось для нее такой же абстракцией, как его работа. Он уезжал на работу и уезжал к семье, это было для Маруси одно и то же, и она знала, что Сергей обязательно придет со своей работы и от своей семьи в Тураково, не завтра, так послезавтра. При этом его приезды не становились для нее привычным делом, а оставались счастьем, потому что она знала и другое: Сергей ее, Марусю, любит, в этом их настоящая, их общая жизнь и состоит, а все остальное неважно.

И вдруг так неожиданно, так сильно она поняла: вот с этой женщиной, которую она за восемь лет увидела впервые, тоже проходила его жизнь, и это было так же необыденно, так же важно для его сердца, как все, чем была для него Маруся. Этого невозможно было не понять сразу, заметив, как Сергей смотрит на свою жену. Счастье стояло у него в глазах, простое и очень сильное счастье, а не то мучительное и безоглядное выражение, которое появлялось в них при виде Амалии.

Такого болезненного удара ревности Маруся не испытывала в своей жизни никогда. Она так растерялась, поняв это, что в первую же ночь хотела сбежать из ермоловской квартиры, притом хотела так сильно, что готова была вылезти в окно, хотя квартира находилась на шестом этаже да и бежать ей было вообще-то некуда.

Он привел ее в свой дом, в свою настоящую жизнь, это, Маруся понимала, было знаком самой большой любви и доверия. Но, понимая это, она чувствовала себя так, словно Сергей ее предал. И ничего не могла с собой поделать. И не подпускала к себе Анну Александровну.

Так что ей, пожалуй, удалось бы отбояриться и от выпускного вечера, если бы Сергей случайно не услышал про это мероприятие в машине по радио и не настоял, чтобы Маруся на него пошла.

– Если бы ты маленькая была, я бы не настаивал, – сказал он. – Но ты же уже большая, Мурка. Думаешь, всю жизнь тебя будут окружать только те люди, с которыми тебе легко и хорошо?

– Не думаю... – пробормотала Маруся.

А как бы она могла такое думать? Кроме Сергея, на свете вообще не было людей, с которыми ей было бы легко и хорошо. Даже с покойной бабушкой Дашей. Та, конечно, любила внучку, но любовь к ней была в бабушкиной жизни не на первом, не на втором и даже не на каком-нибудь пятом месте. Бабушке просто некогда было думать о таких неважных вещах, как любовь, потому что не только все ее время, но и все мысли занимало хозяйство. А Маруся ведь в отличие от козы и поросенка могла сама о себе позаботиться, да если бы и не поела вовремя, то визжать и бляеть от этого не стала бы. Бабушка хлопотала по хозяйству с утра до вечера, но при этом хозяйство почему-то все равно выглядело запущенным и бестолковым: дом, казалось, вот-вот должен был завалиться набок, по двору были разбросаны прохудившиеся ведра, выцветшие тряпки и гнилые доски, коза давала мало молока, куры почти не неслись, поросята плохо набирали вес или вовсе дохли... Мама не обращала на это внимания – говорила, что на такую чушь вообще стыдно тратить жизнь. Марусе было жалко бабушку, но легко и хорошо с ней все-таки не было.

– А раз не думаешь, значит, надо привыкать к общению с разными людьми, – сказал Сергей. – Для начала в тех ситуациях, когда тебя по-настоящему обидеть не могут и есть кому тебя подстраховать.

Конечно, выпускной вечер был именно такой ситуацией. Одноклассники из новой школы сторонились ее, но всерьез не обижали – не считать же обидой мелкие шпильки со стороны девчонок и полное равнодушие со стороны мальчишек. Она была для них чужая, вот и все. А если бы кому-то вздумалось обидеть ее всерьез, то Сергей всегда ее защитил бы, это Маруся знала. Она прекрасно помнила, как, когда ей было четырнадцать лет, он без всяких просьб забрал ее из дорогого, очень престижного летнего лагеря, куда сам же и отправил, – забрал потому, что каким-то загадочным образом догадался, что ей там тоскливо и одиноко.

Выпускной отмечали в школе. Ермоловский дом стоял на Малой Дмитровке, а школа совсем рядом, в Старопименовском переулке. Сергей говорил, что эта школа описана в книге «Два капитана», но Марусе в это как-то не верилось. Хотя, наверное, просто все очень сильно изменилось с тех пор, когда в этой

школе учился Саня Григорьев.

Выпускное платье Маруся купила себе сама. Она увидела это платье случайно и попросила на него денег, сказав, чтобы Анна Александровна больше ничего для нее не искала.

– Оно недорогое, – объяснила Маруся. – И босоножки у меня к нему есть, можно не покупать.

Платье и не могло быть дорогим – его продавала старушка в подземном переходе. Оно было связано из разноцветных ниток мулине и напоминало пеструю рыболовную сеть; под него надевался чехол из ткани, которая, старушка сказала, называлась сатин. Вообще-то платье понравилось Марусе в основном своей нелепостью – она купила его себе же самой назло. А босоножки из разноцветных кожаных шнурков когда-то сплел ей мамин приятель, престарелый хиппи.

Но Анна Александровна решила, что Марусе просто хочется выглядеть оригинальной. Она так и сказала Сергею, которому платье показалось диковатым:

– Сережа, она ведь еще подросток. Ну что такое семнадцать лет? Конечно, ей хочется пооригинальничать. Повзрослеет, и все это пройдет.

Разговаривали они на кухне. Сергей приехал с работы почти ночью, поэтому Анна Александровна думала, что Маруся уже спит и ничего не слышит. Но Маруся как раз вышла в туалет и чуть не заплакала, услышав эти слова про оригинальничанье и, главное, поняв, что Сергей с ними согласен.

Мир видел ее со стороны совсем другою, чем она сама видела себя изнутри. Может, если бы Маруся замечала у себя внутри что-нибудь такое же необычное, яркое, притягательное, что было в маме, то не слишком расстраивалась бы от такого несовпадения внешнего и внутреннего взглядов. Но она-то знала, что ничего особенного в ней нет. Аттестат со сплошными троечками совпадал с нею на сто процентов, хоть в пестром платье его получай, хоть в черно-белом.

Маруся затолкала аттестат поглубже в вязаную сумку – старушка продала ее в придачу к платью – и выскользнула из школы сразу же по окончании

торжественной части выпускного, не дожидаясь начала гулянки. Домой, то есть к Ермоловым, идти сейчас было нельзя. Конечно, прийти туда можно было когда угодно, но Марусе не хотелось, чтобы Анна Александровна догадалась, что она сбежала с выпускного вечера. Она вспомнила, как заглянула однажды в ермоловский семейный альбом и увидела фотографию их сына Матвея. На фотографии он был совсем маленький, чуть старше года. Между глазом и виском у него был наклеен длинный пластырь.

– Это он в смородиновый куст упал, – сказала Анна Александровна, заметив Марусин взгляд на фотографию. – Матюшка с детства непоседливый. И совершенно бесстрашный...

При этих словах ее лицо помрачнело, и Маруся догадалась, почему. Матвей был сейчас в армии, ушел он туда, не спрашивая родительского согласия, – просто ушел, и все. И служил в Средней Азии, на границе с Афганистаном, и, конечно, Анна Александровна все время думала о нем и вряд ли радовалась его бесстрашию... Сережин сын был совсем не такой, как Маруся, он уж точно не сбежал бы с выпускного вечера из-за того, что все его сторонятся. Да и зачем бы ему было сбегать, он-то наверняка не чувствовал себя среди одноклассников белой вороной. Думать об этом, так сильно от нее отличающемся, Матвее ей было так же неприятно, как жить в комнате, в которой он жил в детстве.

Досматривать альбом она тогда не стала – поскорее захлопнула и больше никогда не открывала. Она была лишней в жизни Ермоловых, и вся выдержка Анны Александровны не могла этого скрыть.

Сетчатое платье оказалось нелепым во всех отношениях: Маруся замерзла через час бессмысленного хождения по улицам. Вопреки традиции, согласно которой после прекрасной ночи выпускного бала должен был наступить такой же прекрасный летний рассвет, уже с вечера начал накрапывать дождь. К полуночи он превратился в ливень. Маруся в это время как раз брела по Рождественскому бульвару и вымокла до нитки, пока добежала до темнеющего на углу монастыря. На воротах висел замок, но мокрая как мышь Маруся сразу заметила в заборе узкую дырку и мышью же в нее проскользнула.

Она стояла под козырьком, который нависал над входом в монастырский подвал, перед ней сплошной стеной стояли блестящие дождевые струи, и она думала, что вся ее жизнь состоит из сплошных несуразностей, из каких и должна состоять жизнь совершенно никчемного человека.

- Ну че, работаешь?

От неожиданности Маруся чуть не упала в дверь, которая незаметно открылась у нее за спиной. Но упасть она не успела: кто-то схватил ее за плечи и потянул вниз по ступенькам. Маруся вскрикнула, но, наверное, голос у нее отсырел от дождя: вскрик прозвучал не громче, чем скрип закрывающейся за нею двери.

Хорошо, что хиппарские босоножки были без каблуков – по крайней мере, она не переломала ноги, сбегая чуть ли не спиной вперед по крутой подвальной лестнице. Наконец Маруся почувствовала, что ее плечи уткнулись в какое-то препятствие, и остановилась.

Тускло горела голая лампочка, зловещие тени колыхались на темных стенах, и непонятно было, от чего тянет сыростью и холодом: от стен или от теней.

- Работаешь? – повторил человек, втащивший Марусю в это мрачное помещение.

- Н-не-ет... – пробормотала она, стараясь, чтобы не стучали зубы.

Человек оказался тощим, узкоплечим парнишкой, тоже похожим на тень. Выглядел он тщедушно, но в его взгляде было что-то такое, от чего Маруся поежилась сильнее, чем от подвального холода.

- Да ладно! – хмыкнул он. – Сколько?

- Что – сколько?

- Смотря что сделаешь. Если только отсосешь, много не получишь, а если в анус дашь, то побольше. Так как?

От неожиданности Маруся только теперь сообразила, что он принял ее за проститутку и выясняет расценки. Наверное, в этом не было ничего удивительного, но она не то что удивилась, а рассердилась так, что потемнело в глазах.

- Да пошел ты! – крикнула она и изо всех сил стукнула его кулаком в грудь.

– Ах ты, сука!.. – возмутился он и ткнул Марусю ладонью в лоб. Тычок оказался неожиданно сильным; она отлетела к стене. – Я с ней как с человеком, заплатить хотел, а она!.. Да ты у меня сейчас бесплатно во все дырки дашь!

– На хрен она тебе сдалась, Дрюня? – лениво протянул второй парень. – Половой гигант нашелся! Визг подымет, менты набегут – тебе это надо? Думай лучше, где на дозу взять.

Он сидел в углу на корточках и взирал на происходящее ленивым взглядом. Маруся наконец поняла, почему взгляд Дрюни показался ей таким пугающим: это был взгляд человека, совершенно себе не принадлежащего. Второй парень, наверное, тоже обкурился или обкололся, но на него наркотики подействовали расслабляюще, а на Дрюню, похоже, наоборот.

Оба они не выглядели бомжами, и это напугало Марусю больше, чем напугал бы запах мочи или еще какая-нибудь примета их бездомности. Бомжи, по крайней мере, дорожили бы своим пристанищем, а эти молодые люди, похоже, оказались здесь случайно и легко нашли бы другой подвал, если бы в этом пришлось оставить труп...

– По башке стукну, визгу и не будет, – осклабился Дрюня. – Не сцы, Леха, доза от нас никуда не денется. Хоть попользуйся, пока телка бесплатная. А то тебя ж Маринка уже при всех импотентом обзывает! Позыришь, чего я с ней сделаю, сам по-всякому попробуешь – смотришь, и у тебя встанет.

Он процедил все это спокойно, сквозь зубы, и сразу же толкнул Марусю так резко, что она упала, больно стукнувшись коленками о грязный пол. На его лице застыла улыбка, такая же мертвая, как глаза. И, улыбаясь этой жуткой улыбкой, он стал неторопливо расстегивать штаны.

– Помоги-ите!..

Маруся услышала свой крик словно со стороны и ужаснулась тому, как тихо он прозвучал.

«Надо было «пожар» кричать, – совсем уж глупо мелькнуло у нее в голове. – Просто так помогать никто же не будет...»

Она вскинула глаза на висящую под низким потолком голую лампочку так, словно из ее тусклого света могло чудом материализоваться что-нибудь спасительное. Но лампочка, конечно, ничего спасительного в себе не таила. Только покачнулась и замигала, обещая вовсе погаснуть.

И вдруг одновременно с этим миганием по Марусиной голове пробежал едва ощутимый ветерок. Конечно, он исходил не от лампочки, просто открылась входная дверь. Скорее всего, это явился очередной любитель наркоты и подвального секса, но Маруся, вскочив, бросилась ему навстречу так, словно с ним пришло спасение от всех неприятностей и ужасов, которые она сама себе устроила в жизни.

Видимо, она настолько съежилась и скукожилась, оказавшись в этом подвале, что человек, стоящий на пороге, ее даже не заметил. Во всяком случае, он огляделся и спросил:

– Ну, что у вас тут?

Его голос прозвучал для Маруси не как голос обыкновенного человека, а как трубный глас с небес.

– Я здесь! – воскликнула она; восклицание напоминало воробьиный писк.

И с чего она взяла, что ему не все равно, где она?

Но размышлять об этом было явно не ко времени. Маруся воробьем же взлетела по лестнице и с разбегу ткнулась лбом в грудь мужчины, стоящего на верхней ступеньке. Грудь была такая твердая, что ей показалось, будто она ударилась о скалу – даже искры из глаз посыпались.

– Ага, вот ты куда делась. – Он усмехнулся в усы. – А я уж подумал, кирпич мне на голову упал, глюки пошли. Только что была девчонка, и как дождем ее смыло. Это ты «помогите» кричала?

– Я! – вскрикнула Маруся. – Можно, я с вами отсюда уйду?

– Да пожалуйста. – Даже в тусклом свете было видно, какая открытая и простая у него улыбка. – Если твои кавалеры не против.

– Они не... – начала было Маруся.

Но Дрюня перебил ее.

– Ты че, мужик, оборзел? – процедил он. – Кто телку снял, мы или ты? Хочешь бесплатно ее поиметь?

– Денюжку плати и пользуйся, – подал голос Леха.

Видимо, размышления о том, где взять денег на дозу, не покидали его ни на минуту.

– Во! – хмыкнул Дрюня. – Денюжку – это правильно. Погоди, она сначала мне отсосет, а потом можешь забирать. Только учти, она малолетка, это тебе дорого встанет. – И, не дождавшись ответа, добавил убедительным тоном: – Прикинь, кассета педофильская и то бешеных денег стоит, а тут живая девка.

– Денег? – задумчиво переспросил мужчина. – Что ж, бесплатно только кошки сношаются...

У Маруси похолодело в груди. Хотя чему было удивляться? Кто должен был появиться в этом жутком подвале, ангел небесный? Она беспомощно оглянулась. Внизу лестницы стоял, ухмыляясь, Дрюня с бессмысленными, как бельма, глазами.

– Стой тут, – распорядился ее несостоявшийся спаситель. И прикрикнул: – Да не реви ты, не создавай шум!

Маруся и не думала реветь. Ее страх незаметно перешел в тоску, а тоска в уныние.

«Не убьют же, наверное, – вяло подумала она. – Сделают, что хотят, и отпустят. Или не отпустят...»

Ей вдруг стало все равно, что сделают с ней эти люди и что с ней будет потом.

Тем временем мужчина отодвинул ее в сторону и неторопливо спустился по ступенькам. В самом деле, не сверху же ему было бросать деньги... Но уже через секунду он повел себя вовсе не так, как предполагала Маруся. Он коротко, без замаха, ударил Дрюню в грудь. Тот глухо ухнул, покачнувшись, отшатнулся и, неловко взмахнув руками, упал на спину.

- Достаточно? - тем же спокойным тоном поинтересовался мужчина. - Или на педофильскую кассету добавить?

Дрюня не ответил - скорчившись на полу, он заходился кашлем и даже не пытался встать.

- Я ничего, - торопливо проговорил из угла Леха. - Если денег нет, можешь так ее забирать.

- А если есть?

- Тоже забирай. Я ж ничего, мужик, я думал...

- Пусть лошадь думает, у нее голова большая, - перебил его мужчина. - А у тебя еще думалка не выросла. Пошли, девушка. Видишь, кавалеры не против.

Маруся не знала, сколько времени провела в подвале. Ей показалось, целую вечность. Может, просто оттого, что дождь успел кончиться. Но скорее оттого, что, когда она выбралась на улицу, мир показался ей изменившимся до неузнаваемости.

Он был прекрасен. Он сиял волшебными уличными фонарями, переливался огнями в глубине мокрого асфальта, гладил щеки теплым влажным воздухом и распирал грудь счастьем.

- Купи козу, - усмехнулся, покосившись на Марусю, ее спутник. - Знаешь такой анекдот?

- Не-а, - широко улыбнулась Маруся. - Он про что?

- Да ладно, потом расскажу, - махнул рукой тот. - Тебя как зовут?

- Мария.

- А меня Анатолий. Что ж ты, дева Мария, ночью одна шляешься? Или ты уже не дева? - хохотнул он.

- Ну... - смутилась Маруся. - У меня просто был выпускной вечер, а я...

- Выпускной? - удивился Анатолий. - Вроде бы на выпускной белое платье полагается. Туфельки там всякие, рюшечки. Или теперь по-другому?

Он кивнул на Марусино платье. Теперь, когда оно промокло, она выглядела в нем как рыба, только что вытщенная из воды, но еще не вынутая из сачка.

- Я не знаю, - вздохнула Маруся. - Я просто дура. Извините.

В ответ на эти, безусловно, дурацкие слова Анатолий расхохотался. Смех у него был вовсе не обидный - наверное, потому, что он совсем не скрывал своих чувств, все они читались на его широком лице. Это были очень ясные чувства.

И, глядя на это лицо, которое смеялось все - и рот смеялся, и голубые глаза, и даже крупноватый, картошкой, нос, - Маруся почувствовала, как сквозь ее сердце словно ветерок прошел. Прошел и мгновенно выдул все, что тяжестью лежало на душе весь этот год, а может быть, и всегда: сознание своей никчемности, неловкости, отдельности от правильной и нужной жизни окружающих людей.

- Да-а, дева Мария, не соскучишься с тобой!.. - сквозь смех проговорил Анатолий. - Дура, значит? Так ведь дуракам везет, знаешь такое правило?

Маруся только плечами пожала. Она хотела сказать, что, наверное, является исключением из такого правила, но вдруг подумала, что эти слова будут неправдой. Все, что до сих пор происходило или не происходило в ее жизни, вряд ли можно было назвать невезением. Ведь в своем невезении сам человек не

виноват, а во всех глупостях, которые с ней то и дело случались, она вот именно сама была виновата. Как сегодня – ну кто ее заставлял вместо выпускного бала бродить по ночному городу, да еще в этом дурацком платье?

– Ты где живешь? – спросил Анатолий. – Ну, мама-папа твои где?

Судя по его последнему вопросу, Маруся выглядела в его глазах не просто дурой, а малолетней идиоткой.

– Спасибо, – снова вздохнула она. – Я сама дойду домой.

– А может, я тебя и не собираюсь домой отводить? – прищурился Анатолий. – Может, я для того насчет мамы-папы интересуюсь, чтоб тебя, наоборот, из дому похитить? Со всеми вытекающими последствиями...

– Я с вами не пойду, – поспешно сказала Маруся. – Я не хочу!

Но, произнеся эти слова, почувствовала, что говорит неправду... Она вот именно хотела пойти с этим человеком. И готова была пойти с ним куда угодно.

Это было так странно, что Маруся даже головой потрясла, словно надеялась вытрясти из нее какой-то непонятный сор. К ней меньше всего подходили слова «душа нараспашку», ей нелегко было даже просто спросить у незнакомого человека на улице, как куда-нибудь пройти. А сейчас она стояла как раз на улице и как раз с совершенно незнакомым человеком и готова была идти с ним куда угодно.

– Да не бойся ты. – Анатолий улыбнулся в светлые усы. – Я что, правда на педофила похож? Сейчас машину поймаю и отправлю тебя домой. Смотри, мокрая вся, так и воспаление легких недолго схватить.

– Не надо машину, – смущенно пробормотала Маруся. – Мне на Малую Дмитровку, пешком пять минут.

– Ну, раз пять минут, тогда пошли пешком. Где твоя Малая Дмитровка? Сами мы не местные, – снова улыбнулся он, – улицы ваши московские плохо знаем. – И предложил, подставляя согнутую бубликом руку: – Хватайся. А то, понимаешь,

ничего с собой поделаться не могу: шаг у меня широкий, ну и получается, что девушкам за мной как собачонкам приходится бежать. Или как гарему за баем каким-нибудь. «Белое солнце пустыни» смотрела? Давай, давай, хватайся. Чтоб не отставать.

Маруся неловко просунула руку ему не под руку, а куда-то под мышку. Руке сразу стало тепло, а душе так хорошо и легко, что Маруся даже зажмурилась. Под ее ладонью перекачивались его мускулы, она чувствовала, какие они мощные и какие вместе с тем... ласковые, да, не пугающе мощные, а вот именно ласковые, надежные. Надежность просто исходила от этого человека, она была так же отчетлива, как запах табака и коньяка. Коньячный запах почему-то всегда казался Марусе тревожным, как и густой, прозрачно-медный коньячный цвет. Но сейчас и это было совсем не так. Она осторожно повернула голову и втянула носом воздух. Тревогой от Анатолия не пахло.

– А откуда вы приехали в Москву? – спросила Маруся.

Ей почему-то показалось, что невежливо об этом не спросить, раз он сказал, что не местный. К тому же ей правда хотелось знать о нем все-все. Любая мелочь, связанная с ним, вдруг показалась ей невероятно важной – такой важной, что важнее ничего и не было в ее жизни.

– Родом-то я из Сибири. А в Москву откуда... Да побросала меня жизнь. Человек я был военный, подневольный, начальство скомандует – айда-пошел, и все дела.

– А почему «был»?

– Потому что надоело как ванька-встанька жить. Все думал, времени вагон, все на потом откладывал, а как оглянулся – мама дорогая, жизнь-то проходит, а что я видел? Ну и все, документы собрал – мне за «горячие точки» особый стаж шел – и на пенсию.

– На пенсию? – удивилась Маруся.

– Что, не похож на пенсионера? – усмехнулся Анатолий. – Военная же пенсия, не по старости. Хотя лет мне, между прочим, тоже порядочно. Завтра тридцать шесть стукнет.

- Поздравляю, – улыбнулась Маруся.

- Заранее не поздравляют, – покачал головой он. – Я после Афгана знаешь какой суеверный?

- Но завтра же я вас не увижу...

Эти слова вырвались у нее случайно – просто это было первое, о чем она подумала. И скрыть своих мыслей не сумела. Мама всегда говорила, что Маруся странная: до глупости доверчива, но при этом никогда не поймешь, что у нее на уме. Мама избегала слов «на душе», считая их слишком патетическими, но нетрудно было догадаться, что она имела в виду именно это.

- Почему? – искренне удивился Анатолий. – Захочешь – увидишь. Соседи же, считай. Я тут, на Рождественском бульваре, квартиру снимаю.

Только теперь Маруся заметила, что одет он по-домашнему, в синие спортивные штаны и клетчатую рубашку навывпуск.

- За сигаретами вышел, – поймав ее взгляд, объяснил Анатолий. – Смотрю, какое-то пятнышко под дождем бежит. Как солнечный зайчик, – улыбнулся он. – Хоть солнца и нету. Ну, мне и стало любопытно: куда такое пятнышко направляется? А его, оказывается, в подвал потянуло.

- Меня не потянуло... Это случайно получилось.

- Короче, дева Мария, – решительно сказал он, – если будет желание, милости просим завтра на рюмочку чаю. По Рождественскому угловой дом, как раз напротив твоего любимого подвала. Пятый этаж, квартира направо. Вопросы есть? Вопросов нет.

Он проводил ее не только до подъезда, но даже до самого лифта. Когда двери лифта уже открылись, он похлопал ее по плечу и сказал:

- До завтра, малыш. Смотри, приходи.

И все время, пока лифт поднимал ее на последний этаж, Маруся чувствовала у себя на плече его снисходительное и ласковое прикосновение, а на лице – свою счастливую безмятежную улыбку.

Конечно, они просто не ожидали, что она вернется так рано. Или так поздно? Да какая разница! Они совсем не ожидали Марусино появления, это было ясно. Иначе вряд ли они вот так сидели бы на кухне: он в расстегнутой рубашке, она у него на коленях, положив голову ему на плечо. Сергей был очень закрытый человек, это даже Маруся понимала, хотя по отношению к ней это его качество почти не проявлялось. И Анна Александровна тоже была сдержанной – догадаться о ее чувствах было вообще невозможно.

Только не сегодня.

Сегодня они разговаривали так, словно жить им осталось несколько минут и в эти несколько минут надо уместить все чувства, которые их переполняют, и сказать друг другу все, о чем прежде не говорили, и, главное, надо не отрываться друг от друга ни на секунду, слиться совсем, навсегда...

У Маруси были ключи, и она вошла в квартиру неслышно. Дверь, ведущая из прихожей в кухню, была притворена, но, как будто специально, светящаяся щель в этой двери оказалась прямо перед Марусей. Она вжалась в стену за вешалкой и невольно прислушалась к доносящимся из кухни голосам.

– Не можешь ты этого забыть, я понимаю. – Маруся никогда не слышала, чтобы Сергей говорил так взволнованно, так сбивчиво! – И я забывать не должен. Но я забыл, Анюта, милая, что же делать, если правда забыл? Как наваждение, как страшный сон... Страшный сон всю жизнь ведь не помнишь. Организм, наверно, защищает.

– Я думала, у тебя это солнечный удар был, Сережа, – еле слышно сказала Анна Александровна. – Помнишь, у Бунина рассказ?

– Я сначала тоже так думал, – помолчав, ответил он; голос прозвучал глухо. – Но довольно быстро понял: нет, иначе. Не солнечный удар, не любовь – наваждение, больше ничего. Я ведь каждое утро просыпался и думал: может, мне это все приснилось? И сразу: нет, не приснилось, но, может, этого больше нет, может,

кончилось?.. А потом ее видел и понимал: ничего не кончилось, не выбраться мне из этой трясины. И все восемь лет так... Если б ты знала, как я себя ненавидел, последним ничтожеством чувствовал! Но оторваться от нее не мог. Как не свихнулся, не знаю. Понимал, что любви и помину нет, но скажи мне кто-нибудь: если еще хоть раз в постель с ней ляжешь, то сразу после этого тебя молния поразит, – и точно знал, что отвечу: пусть поражает. А почему так, непонятно. Прости, Аня, не надо тебе об этом...

– Лучше говори, чем в себе держать...

– Не знаю я, что лучше. Одно знаю: каждый день должен Богу свечку ставить, что это кончилось. Хоть богомолец из меня сомнительный, – усмехнулся он. И добавил чуть слышно: – Я тебя люблю, Аня. И всегда любил. Ты мне вправе не верить, но это так. Я как будто домой вернулся. Не в физическом смысле, вот в эти стены, а больше... Это непонятно?

– Это понятно, Сережа. – Анна Александровна улыбнулась.

– Ты чему смеешься? – тут же спросил Сергей.

– Твоему учительскому тону. Ты как будто аксиому какую-нибудь студентам закончил доказывать и спрашиваешь, какие будут вопросы.

– Аксиому не надо доказывать. Это истина, не требующая доказательств. Так что в принципе ты права, как раз аксиому я только что и изложил. Такой уж у меня примитивный математический ум. Даже в любви признаюсь по правилам. Скучно тебе со мной разговаривать, а, Аня?

Он явно повеселел: интонации страстного отчаяния исчезли из его голоса и зазвучали совсем другие, невозможно нежные.

– Конечно, скучно! – засмеялась Анна Александровна. – Ты же знаешь, с мужчинами я разговариваю только о высоком искусстве, а с тобой...

– А со мной, если разговаривать скучно, давай чем-нибудь другим займемся, – заявил Сергей. – Чем-нибудь менее осмысленным.

– Сережа, ты что, перестань! Ну зачем мы на кухню вышли? Лучше бы я тебе в постель чаю принесла! Маруся вот-вот вернется, а ты...

– Если до сих пор не вернулась, то вот-вот не вернется. Наверное, перестала как ежик в клубок сворачиваться и общается наконец с одноклассниками. Пойдем тогда в спальню, раз здесь боишься, только поскорее, а?..

– Я не боюсь, я...

– Если бы ты знала, как я тебя люблю, родная моя... Если бы у меня слова были, так тебе это сказать, как оно на самом деле есть!

– Я и без слов, Сережа...

Голоса их затихли, слышно было только дыхание – прерывистое, страстное, общее. Маруся зажмурилась и на цыпочках попятилась к двери.

Глаза она открыла, только снова оказавшись на лестнице.

«Это правда. Наваждение у него кончилось. А я осталась. Куда ему меня теперь девать? Он же порядочный. – Мысль о Сергеевой порядочности почему-то показалась такой болезненной, как будто в этой очевидной истине, в этой аксиоме было что-то оскорбительное. – Не надо мне ничего! – Маруся чуть не выкрикнула это. – Вернулся домой, ну и хорошо. И незачем меня за собой тащить. Что я, инвалид?»

Она потрясла головой и, набрав побольше воздуха, как перед прыжком в воду, решительно нажала на кнопку звонка.

– Я ключи забыла, – сказала она, когда не сразу, минут через десять, Анна Александровна открыла дверь. – Извините, что разбудила.

Маруся зажмурилась и потрясла головой. Вечно ей вспоминалось что-нибудь неподходящее! Хотя к чему не подходящее? К смутным разводам на потолке, к поблескиванию цирковых костюмов, к одиночеству? Ее жизнь складывалась так, что вспоминать можно было когда угодно и о чем угодно. Никакое воспоминание

не выглядело печальным в сравнении с действительностью.

«И нечего раскисать, – сердито подумала Маруся. – Что уж такого страшного? Да мне вообще везет! Толю в ту самую минуту встретила, когда поняла, что от Ермоловых надо уходить. Разлюбила тоже сразу, как только поняла, что и от него уходить надо. Ведь правда в ту самую минуту разлюбила, даже нисколько не мучилась!»

Ей стало смешно оттого, что она подумала о себе такими вот словами – «нисколько не мучилась». Как о покойнице! Сразу пришли в голову истории про черный-черный дом, в котором стоит черный-черный стол, а на столе лежит что-нибудь еще черное-черное... Надо было просто представить, что происходящее в ее жизни – обыкновенная детская страшилка, и все сразу становилось легко и смешно. Маруся сама придумала такой способ не бояться и даже не чувствовать одиночества; она очень гордилась этим своим открытием.

Был еще один способ достичь такого же результата. Правда, его Маруся придумала не сама, но пользовалась и им тоже.

– Уже завтра утром все будет по-другому, – громко произнесла она. – Мне кажется, что все плохо, просто потому, что сейчас темно и ночь. А завтра утром станет светло и все будет хорошо.

Ее голос прозвучал в тишине цирковой гардеробной довольно беспомощно. Но все-таки прозвучал ведь!

Глава 4

Неизвестно, каким должен был оказаться новый день, хорошим или не очень, но утро этого дня было самое обыкновенное – тусклое осеннее утро. Окно гардеробной выходило на задний двор цирка; выглянув в это окно, Маруся увидела мокрые крыши каких-то вагончиков, в которых, приглядевшись, распознала клетки.

Это было не хорошо и не плохо. Это было необычно.

К счастью, туалет оказался рядом с гардеробной – Маруся не знала, можно ли ей бродить по запутанным переходам и коридорам одной. Неизвестно ведь, разрешают посторонним ночевать в цирке, или клоун Петр Иванович Сидоров привел ее сюда на свой страх и риск.

Вернувшись из туалета, она повнимательнее оглядела место своего неожиданного ночлега. Нет, все-таки эта маленькая комнатка и при ближайшем рассмотрении ничуть не разочаровывала! Даже наоборот. В шкафу, который Маруся, не сдержав любопытства, сразу же открыла, висело такое множество костюмов, что рассматривать их можно было, наверное, часами. Костюмы были фракные, сюртучные, какие-то вроде бы охотничьи... Но главное, все они как будто бы только притворялись обыкновенными человеческими костюмами, а на самом деле в них было что-то совершенно необыкновенное. Если полоски, то не элегантно-безликие, а смешные, как у зебры. Если пуговицы, то величиной с тарелку.

«В них необходимости нет! – вдруг догадалась Маруся. – Они... просто так, вот что».

Это наблюдение показалось ей таким радостным, что она даже зажмурилась. Как будто стояла на пороге какой-то необыкновенной жизни. А может, так оно и было?

Во всяком случае, надеяться на это очень хотелось. Она снова вышла из гардеробной и отправилась куда глаза глядят, вот уж точно, как богатырь на распутье. Правда, дорогу выбирать особо не пришлось. Маруся просто пошла по длинному коридору, поворачивая на его бесчисленных поворотах и спускаясь по неизвестно куда ведущим лестницам. Ей все время казалось, что за очередным поворотом или на очередной лестнице ей встретится тигр, и сердце у нее замирало сладким страхом.

Маруся почти не удивилась, когда после всех этих поворотов и лестниц, после какого-то длинного, пахнущего лошадьми полумрака она оказалась перед широкой дверью, осторожно приоткрыла ее и увидела манеж. Настоящий цирковой манеж, хотя и без тигров, которых она только и запомнила в свой единственный детский поход в цирк.

Тигров не было, клетки не было – на манеже были обыкновенные люди в обтягивающих трико. Нет, все-таки не обыкновенные; здесь не могло быть ничего обыкновенного, в этом она убедилась уже через несколько секунд.

Один из находившихся на манеже людей разбежался, высоко подпрыгнул, приземлился на какую-то качалку, которая при этом хлопнула громко, как будто выстрелила, – и одновременно с этим прыжком-выстрелом еще один человек взлетел вверх со скоростью пушечного ядра, как-то по-особенному перевернулся и оказался на плечах третьего человека. Все это произошло так мгновенно, так слаженно, что Маруся ахнула. Может, если бы она увидела такой прыжок во время представления, сидя в зрительном зале, то и не удивилась бы. Ведь во время представления, в сиянии ярких огней, на цирковом манеже и должно происходить что-то невероятное. Но вот так, тусклым утром, в неярком свете дежурных ламп...

Забыв закрыть рот и вжавшись в дверной косяк, Маруся смотрела на дальнейшие стремительные перемещения этих прыгучих людей.

Кажется, они отрабатывали не отдельные трюки, а довольно длинную программу, всю подряд. Они подбрасывали друг друга на подкидных досках, с невероятной точностью и с такой же невероятной элегантностью приземлялись друг другу на плечи, составляя из самих себя пирамиды и тут же их разваливая, они были как будто бы сделаны из тугой резины, но при этом в них было столько жизни, вернее, столько живости, что воздух над манежем бурлил от их прыжков.

Маруся так на них загляделась, что даже пропустила момент, когда репетиция закончилась. Она очнулась, только когда увидела главного из акробатов прямо рядом с собой. Что он главный, Маруся поняла, еще когда он был на манеже. И теперь она смотрела на него, стоящего рядом, с детским восторгом и изумлением.

– Ужасно здорово! – вырвалось у нее.

– Понравилось? – Акробат дышал прерывисто, но при этом вся живость, которая во время репетиции так и бурлила у него над головой, теперь была в его глазах; они сияли сказочным пламенем. – Ну да, сегодня все толково.

Слова он сказал совсем простые, и лицо у него было простое, не вылепленное, а вырубленное. Но вот это сияние в глазах было такое, что неважным становилось, что он говорит и какое у него лицо.

– Вот она где! – услышала Маруся у себя за спиной. – Я ее по всему цирку ищу, а она, смотри-ка, сразу манеж отыскала.

Обернувшись, Маруся увидела клоуна Сидорова. Лицо у него было утреннее, немного помятое, но все-таки и в этом немолодом человеке было то же, что и в гибком акробате, – сияние, которое у одного из циркачей в глазах горело, а у другого отражалось.

– Я не искала, – объяснила Маруся. – Я только в туалет пошла и... сюда пришла.

Клоун и акробат засмеялись. Но в этом смехе над очередной Марусиной нелепостью не было ничего обидного.

– Будешь дальше смотреть? – спросил Сидоров. – Они еще немножко попрыгают, а потом звери репетировать начнут. Андрей со своими ребятами у нас пока сверх плана, потому с утра и приходит. А вообще-то первыми хищникам положено.

– Тиграм? – спросила Маруся.

– Обезьянам, – ответил акробат Андрей. – Они знаешь какие хищники? Пострашнее тигров.

– Можно, я посмотрю? – осторожно попросила Маруся. – Я тихо, даже шевелиться не буду. Вам не помешаю.

– Конечно, можно, – кивнул Андрей. – И шевелиться можно.

– Ну, я пошел тогда, – сказал Сидоров. – Андрюха, как закончишь, отведи ее ко мне в гардеробную. А то она первый раз у нас, заблудится где-нибудь в слоновнике, ищи ее потом!

– Не надо провожать, – торопливо сказала Маруся. – Я и сама найду. Вы же после репетиции устанете.

– С чего это я устану? – удивился Андрей. – Наоборот, попрыгаю, бодрее буду. Да ты не стой тут у стеночки, садись в зал.

Он похлопал Марусю по плечу – мускулы прокатились у него по руке – и вернулся на манеж.

– Надоест смотреть, приходи, – сказал Сидоров. – Позавтракать тоже надо, не все на мужиков любоваться.

– На мужиков? – удивленно переспросила Маруся.

– Ну, не на обезьян же! – улыбнулся Сидоров.

Меньше всего Маруся думала о том, что вот эти люди, так волшебным взвихряющие над собою пространство, – мужчины, мужики, к которым может быть привлечено особенное, чисто женское внимание. Они были... как-то вне всего, из чего состояла внешняя жизнь. Как будто высокий цирковой купол отделил их от всякой обычной жизни. И ее, Марусю, случайно оказавшуюся рядом, этот купол отделил от прежней ее жизни тоже...

Маруся не поняла, как прошел этот день. То ей казалось, что он катится медленно, как большое разноцветное колесо, то – что мелькает, как блестящий сабельный клинок. Он не был похож ни на один день ее жизни, хотя сама она не сделала за этот день ничего особенного. Позавтракала в цирковом буфете с клоуном Сидоровым, сходила с ним же в слоновник – ему нужно было договориться с дрессировщиком слонов о репетиции клоунской репризы, которая в присутствии этих слонов разыгрывалась, и он взял с собой Марусю, чтобы она не потерялась, – потом, кажется, пообедала, не замечая, что именно ест... Она сама не понимала, что же поразило ее в этот день так сильно, так ослепительно. Это был, конечно, не свет и не блеск – во время репетиций, которые весь день шли на манеже, свет был неярко, а блеска и вовсе никакого не было, потому что все артисты были одеты в обыкновенную тренировочную одежду. Но вот лица... Все дело было в них – Маруся никогда таких лиц не видела.

– Лица? – переспросил Сидоров, которому она сбивчиво попыталась объяснить, почему у нее такой ошеломленный вид. И, ничуть не удивившись, сразу поняв из малопонятных Марусиных слов, что она имеет в виду, объяснил: – Конечно, лица у цирковых хорошие. Независтливые потому что. Ну сама подумай, кто кому у нас будет завидовать? Жонглер акробату? Или дрессировщик канатоходцу? Все на сто процентов реализованы, непризнанных гениев в цирке ведь нету. И мелочных людишек, подлых тоже нету. У нас тут, уж извини мою патетику старческую, настоящий оплот благородства.

И сразу же, словно в противовес патетике, собрал все морщины и складки своего подвижного лица в невозможную гримасу – так, что половинка лица осталась грустной, а половинка стала веселой. Маруся засмеялась – непонятно чему, то ли его гримасе, то ли простой правде его слов.

Он длился, этот прекрасный день, длился, менялся и незаметно катился к вечеру, который и был его целью.

И вот этот вечер наступил наконец, и Маруся – уставшая, с гудящей головой, покрасневшая и почему-то растрепанная – стояла за кулисами, в коридоре у форганга, и прислушивалась к гулу зала, окружавшего манеж и отделенного от нее одним только тяжелым занавесом. Коридор, в котором она ожидала представления, тянулся чуть ли не через весь цирк, от манежа до самых конюшен. Вдоль коридора стояла какая-то аппаратура и клетки с собачками. Перед началом представления большинство артистов тоже стояли у занавеса, за которым сиял манеж – теперь уже действительно сиял, освещенный бесчисленными огнями.

Рядом с Марусей стояла воздушная гимнастка Рина Кьярини; ее номер был первым. На самом деле ее звали просто Ира Веселова, но Сидоров объяснил Марусе, что Ирины предки происходили из знаменитой итальянской цирковой династии Кьярини, потому она и взяла себе такое артистическое имя. Родство со знаменитыми предками трудно было теперь доказать документально, но это совершенно ничего не значило.

Да и все постороннее ничего сейчас не значило для этой не первой молодости, невысокой женщины, которая стояла перед форгангом в блестящем трико и, Маруся видела, ужасно волновалась.

«Как же она выступить будет, ей же трудно уже, наверное», – незаметно разглядывая немолодое лицо гимнастки, подумала Маруся.

Но тут занавес раздвинулся, и с манежа хлынул за кулисы такой мощный, такой ослепительный поток света, что Маруся зажмурилась. А когда открыла глаза, то увидела, что Рина Кьярини уже стоит в этом потоке. Вернее, не стоит, а летит в нем – вперед, на манеж, в волны бравурной музыки и в грохот аплодисментов. Маруся видела ее лицо еще ровно секунду и в эту секунду не узнала его. Это было совсем другое, преображенное лицо – без единой морщинки, не просто молодое, а юное, одухотворенное чем-то таким, чему Маруся не находила названия.

Рина Кьярини растворилась в волшебном, преображающем свете, в ослепительном счастье и молодости. И занавес закрылся за ней, отделив Марусю от всей этой неназываемо прекрасной жизни.

Глава 5

– Ты б видел, как он крутит! Курбет, флик-фляк, фордер-шпрунг, потом сальто-мортале пошли. И все каскадом за пять минут. Серега говорит, сам видел, как он тройное сальто-мортале сделал!

– Ну, это он брешет... Тройное! Двойное, и то вряд ли.

– И ничего не брешет. Кто ж про такое врать-то будет?

Маруся только головой успевала вертеть, глядя то на Андрея, то на Гену Козырева. Они уже пять минут говорили на таком вот птичьим языке, и ей это ужасно нравилось.

До этого разговоры были самые обыкновенные, немного вялые, какие и всегда ведутся в любой, мало еще выпившей компании. Про то, что хозяйка сдала квартиру на полгода, а через три месяца взяла да и пустила в нее других жильцов, и неизвестно, куда теперь деваться и как изъять выплаченные вперед деньги. Про сплошные двойки старшего сына, а ведь маленький такой умный

был, и куда только что девается, все лень, лень-матушка. Про безумную любовь какого-то Сереги к какой-то Наташке, которая такой любви, конечно, не стоит, но что поделаешь, сердцу не прикажешь.

Но и про двойки, и даже про безумную любовь говорили как-то одинаково, без воодушевления. Потому-то Марусе и было так важно понять, что же это за тройное сальто-мортале такое, от одного названия которого у Андрея и Генки одинаково загорелись глаза. Впрочем, она уже привыкла к такому огню воодушевления и даже удивилась бы, если бы он не появился, как только речь зашла о сальто-мортале. Он загорался в глазах всех ее новых знакомых всегда, когда речь заходила о чем-нибудь таком... цирковом.

- Тройное сальто-мортале редко делают, - объяснил Андрей в ответ на Марусин вопрос. - Раньше вообще смертельный номер считался. Многие шею свернули.

- А зачем пытались, раз смертельный номер? - спросила Маруся.

- Как зачем! Ну... хочется же. Трудно же сделать, вот и хочется.

Андрей вообще не горазд был объяснять, а особенно что-нибудь вот такое, про сальто-мортале или про другие замысловатые прыжки. Гораздо лучше ему удавалось их делать. Впрочем, и про то, что к цирку не относилось, он тоже объяснял с трудом, но уже по другой причине: все остальное было ему не слишком интересно. Ему и Маруся была не слишком интересна, потому что она не имела отношения ни к флик-флякам, ни к фордер-шпрунгам. То есть сначала Марусе казалось, что она ему все-таки интересна, но вскоре она поняла, что это не так, и совсем не обиделась. В конце концов, она вообще никому никогда не бывала интересна. И какая разница, что тому причиной интерес мужчин к эффектным женщинам, к которым Маруся уж точно не принадлежит, или, вот как у Андрея, интерес к сальто-мортале, которых она делать не умеет?

В последние два месяца ее вообще не обижали и не печалили всякие неважные вещи. Все, что произошло с нею за это время, было так неожиданно, так прекрасно и важно, что смешно было бы обращать внимание на пустяки.

В последние два месяца Маруся работала ассистенткой у иллюзиониста Ласкина, который сказал ей однажды, что любит фокусы за их безграничность. Вообще-то он был неразговорчив, но если уж говорил, то что-нибудь вот такое,

необыкновенное и будоражащее воображение. А больше молчал и загадочно улыбался, и Марусе казалось, что сейчас он исчезнет, а его улыбка останется висеть в воздухе, как улыбка Чеширского кота.

Маруся заряжала для него секреты, так это называлось у фокусников, а попросту говоря, готовила аппаратуру к трюкам.

– Ты сообразительная, – сказал ей два месяца назад клоун Сидоров. – И зачем тебя в цветочницы отпускать, когда Боря мне за такую ассистентку только спасибо скажет?

Про то, что она собирается продавать цветы, Маруся сказала Сидорову просто так. Вернее, даже не просто так, а от отчаяния. Цветочный киоск стоял рядом с цирком, его было видно в окно, а ей – надо же ей было объяснить, чем она собирается заниматься, когда распрощается с Сидоровым и его гардеробной, и объяснить это надо было так, чтобы Петр Иванович поверил. Ну, Маруся и сказала, что будет работать цветочницей, потому что этому, наверное, нетрудно научиться, и вообще, это даже красиво.

– Очень красиво! – хмыкнул Сидоров. – Особенно зимой. На тебе еще жиру столько неросло, чтоб зимой в киоске сидеть. А ночевать где собираешься, под прилавком? В общем, не выдумывай, Маруся Климова. Работа у нас всегда найдется. Ласкин как раз ассистентку искал. Если не нашел еще, я тебя к нему и пристрою. Жить пока можешь здесь, а там видно будет. Осмотришься, разберешься. Время у тебя теперь быстро пойдет.

Он оказался прав: два месяца, которые Маруся жила в клоунской гардеробной и работала ассистенткой у фокусника Ласкина, не просто прошли, а пролетели, и не просто быстро, а стремительно.

Поэтому ее уже и не удивлял огонек воодушевления, который загорался в глазах акробатов при словах «флик-фляк» или «сальто-мортале». Однажды, мельком увидев себя саму в блестящем зеркальном сосуде, который она готовила к выходу фокусника – тот появлялся на арене прямо из этого большого кувшина, а кувшин, в свою очередь, появлялся из клубов разноцветного дыма, – Маруся заметила и в своих глазах такой же огонек. Это был самый настоящий, самый главный огонек цирка, его средоточие и магнит. Именно по такому огоньку цирковые безошибочно узнавали друг друга.

Ласкин был иллюзионистом и престижитатором. Это замысловатое сочетание значило, что он показывал и фокусы сложные, с дорогой аппаратурой, и еще более сложные, но такие, которые требовали не аппаратуры, а ловкости рук и вдохновения. Вторые нравились Марусе гораздо больше. Правда, может быть, она просто ревновала Ласкина к другой его ассистентке, Зине, которая работала с ним на манеже во время иллюзийных фокусов. Трюк с Зиной был самым красивым в ласкинской программе. Над манежем появлялся огромный шар, опускался на ковер, из него выходила Зина в переливающимся ослепительными блестками купальнике и тут же вновь поднималась в воздух, теперь уже без шара, подчиняясь только движениям рук Ласкина. И пока она парила над манежем на высоте метра, из блесков на ее купальнике били вверх разноцветные фонтанчики... У Маруси сердце замирало каждый раз, когда она видела этот номер! Но, конечно, о том, чтобы в нем участвовать, не могло быть и речи. Здесь-то уж точно нужна была не просто женщина, а настоящая красавица, и фигура у нее должна была быть именно такая, как у Зины – совершенная и манящая.

Но вообще-то Марусю завораживали все подряд ласкинские трюки, даже те, про которые она знала, что они делаются самым нехитрым образом. Вот он, например, выходил на манеж с двумя огромными веерами, открывал их, и над ними начинали порхать легкие бабочки. Ласкин вообще был точен в движениях, а в эти минуты двигался по манежу прямо-таки с кошачьей грацией, то широко взмахивая веерами, то опуская их. Играла музыка, и, повинувшись то ли музыке, то ли движениям его рук, то ли общему трепету, которым был пронизан сам воздух манежа, бабочки летали и летали над веерами... Секрет этого фокуса был настолько прост, что Маруся даже сама проделывала его втихомолку: надо было всего лишь правильно закрепить на веерах две прозрачные лески. Но красота получалась такая, что и знать не хотелось никаких секретов.

Ласкин вообще умел завораживать, и не только Марусю, которая, как он, посмеиваясь, говорил, вообще готова была верить в сказки, но и огромный зал, в котором, по его же словам, было больше скептиков, чем романтиков.

– У нас Чулпатов знаменитый когда-то работал, бегемотов дрессировал, так его прямо из зала знаешь что однажды спросили? «Хотелось бы знать, какая съедобность у ваших животных». Вот и пройми таких любознательных, – усмехался Ласкин. – Это не твои наивные глазки удивлять!

Маруся вовсе не считала себя наивной, но, когда Ласкин выходил на арену, она была готова согласиться с любым его утверждением. Особенно когда он голыми руками доставал прямо из воздуха двенадцать зажженных свечей или подбрасывал вверх разноцветное конфетти, которое застывало над ним удивительными объемными картинами – дворцом, лесом, девичьим лицом...

Ей нравилось в цирке все, она сразу стала здесь своей и не могла уже даже представить, как жила без всего этого. Будь ее воля, она и на улицу не выходила бы. Да, собственно, у нее и не было особой необходимости куда-нибудь выходить. И домой, когда заканчивалось представление, ей тоже не надо было торопиться. Поэтому она и участвовала во всех посиделках, которые то и дело возникали в какой-нибудь из цирковых гардеробных. Вот как сегодня у Сидорова.

Задумавшись, Маруся пропустила момент, когда с флик-фляков и сальто разговор перешел на Бориса Ласкина.

– Да он точно гипнотизер, – убежденно сказал Гена Козырев. – Вон, Маруська как в рот ему смотрит! Как удаву какому-нибудь.

– И ничего не как удаву, – обиделась за Ласкина Маруся. – И ничего не в рот. Просто у него творческие импульсы сильные, – добавила она, вспомнив, как называла такие вещи мама. – И энергетика. И вообще, он, он... настоящий маг, вот что!

Последние слова Маруся выпалила с глупым детским воодушевлением и, наверное, с таким же глупым выражением лица. Но она уже не обращала внимания на такие мелочи, как собственное лицо. Ведь Ласкин с его узкими, как у японца, глазами и улыбкой Чеширского кота в самом деле был магом, она несколько в этом не сомневалась и была уверена, что это очевидно для всех.

– А водки-то мало взяли, – бросив короткий взгляд на Марусю и усмехнувшись, заметил Сидоров. – Предупреждал же, не только молодое поколение соберется, богатыри тоже будут. Нет, набрали кислятины, как на выпуск благородных девиц!

Марусе стало грустно. Она полюбила клоуна Сидорова, и ей было его жалко. Не требовалось быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что он попросту

спивается. Конечно, Петр Иванович, выпив, никогда не буянил. Чтобы он не вышел на манеж, потому что был пьян, или, выйдя, не держался бы на ногах – такого тоже не бывало. И, наверное, когда он был помоложе, его привычка выпивать каждый день – с утра рюмочку-другую, часам к четырем еще стакан, а после вечернего представления, на ночь, уж всерьез, как положено, – не сказывалась на нем так заметно, как теперь, когда его годы приближались к пятидесяти. Но теперь он дряхлел так быстро, что даже за те два месяца, которые Маруся была с ним знакома, Петр Иванович изменился очень сильно.

– Водки сейчас еще принесут, – сказала Рина Кьярини. – Не волнуйся, Петя, мы про тебя помним. Подружка моя придет, из Театра современной пластики. У нее бойфренд богатый завелся – ну, он и принесет. Гоноратка говорит, он у нее не жадный.

– Спасибо, Ирочка, – растроганно сказал Сидоров. – Другая бы нотации читала, а ты заботишься.

– Хороша забота, – вздохнула Рина. – Зашился бы, Сидоров, а?

– А зачем? – пожал плечами Сидоров. – Чего ради мне себя этой тихой радости лишать? Если ради работы, так сама видишь, на манеже я как огурчик. А так, ради идеи... Нет такой идеи, Ирочка, а на нет и суда нет. Вот меня друг недавно попросил с его сыном поговорить: на иглу парень подсел. Я ему и так, и этак – лечись, мол. А пацан мне: от чего мне лечиться, дядя Петя? Я что, убиваю кого-нибудь? А что наркотики употребляю, так это не болезнь, а моя личная жизнь. И кто сказал, что так жить хуже, чем как одноклеточные живут – машина, дача, тряпки? Вот у Мишки, друга моего, дочка родилась – ему, я понимаю, надо с иглы соскочить. Или Ольге – ей работу классную предложили. А мне зачем?

– Это он сказал или ты говоришь? – уточнила Рина.

– Он. А я со своей стороны присоединяюсь.

Сидоров говорил так спокойно и его доводы выглядели так логично, что Маруся не нашлась бы, что возразить, хотя точно знала: в словах Петра Ивановича есть какая-то неточность, и эта неточность в них главнее, чем логика. Правда, никто и не ждал от нее ни возражений, ни догадок.

У Рины в сумке зазвонил телефон.

– Они, они, тетя Катя, – сказала Рина, откинув серебристую крышечку. – Я не буду спускаться, ладно? Ага, Ковальская Гонората Теодоровна. Ну, полька потому что, ничего особенного. Конечно, с парнем пропусайте, а как же! Ладно... Ага... Не забуду, тетя Катя! – засмеялась она и кивнула Сидорову: – Сейчас водка прибудет.

Как обычно, Марусе именно в этот момент захотелось в туалет, и, тоже как обычно, захотелось так, что ни секунды нельзя было потерпеть. Вроде и вина выпила совсем чуть-чуть... Ну просто как младенец в пеленках!

Ей было интересно посмотреть на девушку с таким необычным именем, которая к тому же работала в каком-то необычном Театре современной пластики, но дожидаться, пока эта девушка дойдет от вахты до гардеробной, не было никакой возможности.

«Ладно, они же не на пять минут пришли», – подумала Маруся и выскользнула из комнаты.

Когда она вернулась, гости уже присоединились к компании. Марусино возвращение никто не заметил, так же, впрочем, как ее исчезновения. Заявить с порога: «Здравствуйте, меня зовут Маруся Климова», – показалось ей довольно глупым, спрашивать, как зовут вновь прибывших, – тем более. Так что пришлось остаться в неведении и непредставленной.

Гонората оказалась не просто хорошенькая или, например, пластичная – пластичных женщин Маруся в цирке навидалась достаточно, – а до того красивая, что хотелось зажмуриться. Просто не верилось, что женщины бывают такие... ослепительные, вот какие! Не верилось и в то, что у женщин бывают такие глаза: бледно-синие, не голубые, а именно бледно-синие, как слабый раствор аквамаринной краски, и к тому же прозрачные, как хрусталь; казалось, что даже как ограненный хрусталь. У бабушки Даши была хрустальная ваза, и Маруся помнила, как переливались в свете их неяркой домашней лампочки бесчисленные грани на ее поверхности. Точно так же переливались глаза этой Гонораты. К тому же они занимали пол-лица, тянулись до самых висков и касались своими уголками длинных светлых волос, которые двумя ровными блестящими струями стекали вдоль Гоноратиных щек.

«Прямо хоть к Ласкину в номер», – подумала Маруся.

Лучшего предназначения для такой чудесной красоты она не знала.

А вот бойфренд, сопровождавший красавицу Гонорату и доставивший клоуну Сидорову водку, кажется, знал. Он сидел напротив своей подруги за низким столиком, лица его Маруся не видела – только широкие плечи и коротко стриженный затылок.

«Военный, наверное», – подумала она, и эта мысль сразу испортила ей настроение.

Ей не хотелось вспоминать о существовании в мире широкоплечих военных с коротко стриженными затылками.

К тому же она сразу почувствовала во всем его поведении, и даже не в поведении, а как-то... во всем его облике, что Гоноратина ослепительная красота принадлежит ему, что он знает это и считает абсолютно правильным. Маруся не сумела бы объяснить, каким образом она это почувствовала, но в ощущении своем была совершенно уверена. Она словно настроилась на волну этого военного, хотя даже его лицо увидела не сразу, а только когда села за стол. И это ее рассердило.

«Вот дурость какая! – мелькнуло у нее в голове. – Хоть бы раз что-нибудь путное почувствовать, так нет же, вечно черт знает что!»

Она показалась себе каким-то испорченным радаром, который вместо правильных сигналов вылавливает в эфире всякую ерунду.

С появлением новых людей разговор почти не изменился, только про различные виды прыжков и особенности работы на манеже рассказывал теперь не Андрей, а Гена. У него это получалось лучше, потому что Андрей вообще-то был спортсмен и пришел работать в цирк сравнительно недавно, а Гена был настоящий цирковой – из тех, про которых говорят, что они родились в опилках.

– Ну, это не только на манеже можно понять, – дослушав Генку, сказал красавицын бойфренд. – Когда в спортзале часа два позанимаешься, тоже в

животе бабочки летают.

Про бабочек Гена вообще-то не говорил.

– В животе? – бросив быстрый взгляд на парня, переспросил Сидоров. – Может, в душе?

– Нет, в душе все-таки не от этого, – ответил тот.

Он произнес это сразу, ни секунды не думая, и так уверенно, что Марусе даже интересно стало: от чего же летают бабочки в душе у такого человека? Но догадаться об этом сейчас, во время общей и уже пьяно-беспорядочной беседы, вряд ли было возможно. Тем более что молодой человек явно обращал больше внимания на свою спутницу, чем на всех остальных собравшихся, вместе взятых. Маруся и сама не поняла, как об этом догадалась – он почти не смотрел в сторону Гонораты, которая к тому же сидела теперь чуть позади него и болтала с Риной. Но когда эта красивая девушка словно невзначай положила руку ему на плечо, он чуть-чуть наклонил голову влево и на секунду прижал ее ладонь своей щекой. Он сделал это так же мгновенно, не думая, как сказал про бабочек, которые отчего-то летают в душе. И Маруся вдруг почувствовала, что ей становится до невозможности грустно – так грустно, хоть разревись прямо у всех на глазах. Может, конечно, дело было в том, что она машинально выпила водку, которую ей, как и остальным, налил в стакан этот парень. Нет, вряд ли дело было в этом, и даже точно не в этом! Просто она поняла, что как-то... не имеет ко всему этому отношения. То есть что с нею не может происходить ничего подобного. Чтобы она вот так уверенно и спокойно положила руку на плечо такому необыкновенному – ну конечно, необыкновенному, что уж тут притворяться, будто не понимаешь, у обыкновенных не бывает такой глубоко скрытой лихой искры в глазах! – парню, чтобы ее ладонь кто-нибудь так мгновенно и ласково прижал к своему плечу щекой...

Всех людей на свете связывали незримые, но очень прочные нити чувств; глядя на Гонорату и ее друга, Маруся поняла это так ясно, как будто эти нити светились. И только к ней никаких нитей не тянулось, потому она и была похожа на плоскую, бестолково дергающуюся фигурку, не годную даже для кукольного театра.

– А... а... – Маруся увидела себя со стороны; рот у нее разевался очень глупо. – А можно еще показывать фокусы! – совсем уж не к месту выпалила она, как обычно, невпопад присоединяясь к общему разговору.

– Конечно, можно, – кивнула Рина. – Только для начала научиться надо.

– Я уже научилась, – шмыгнула носом Маруся. – Кое-чему.

– Да я вообще не о тебе, – улыбнулась Рина. – Что это ты вдруг, а, Дюймовочка?

Ну конечно, все, что кому-нибудь интересно, это не о ней!

– А как насчет шпаг, уже глотаешь? – спросил Генка.

Из всех, с кем Маруся успела познакомиться в цирке, Генка был самым вредным. Ему была почти несвойственна та душевная мягкость, которая была так заметна в большинстве цирковых. Клоун Сидоров давно уже объяснил Марусе, что мягкость эта является своеобразной компенсацией той жесткости и даже жестокости по отношению к себе и к партнерам, которой требует работа на манеже. В том, что это правда, Маруся не раз убеждалась сама. Однажды, например, она видела, как во время репетиции воздушный гимнаст Юрьевский раз десять подряд заставлял своего четырнадцатилетнего сына переделывать прыжок, который тому никак не давался. Мальчишка все падал и падал в сетку, а отец все заставлял и заставлял его в очередной раз лететь с трапеции на трапецию, и его команды звучали при этом как отрывистый злобный лай, и Маруся думала, что он хуже Карабаса-Барабаса из сказки, и ей было жалко его сына... А через час после этого она увидела обоих Юрьевских в буфете, они о чем-то разговаривали, и голоса у них были такие доверительные, и глаза Юрьевского-старшего светились такой неподдельной любовью к своему мальчику, а глаза младшего таким неподдельным же восторгом перед отцом... Маруся очень тогда удивилась, вот и спросила Сидорова, почему так. И он рассказал ей про это всем известное свойство циркового характера.

Генке это замечательное свойство было почти не присуще. Каков он на манеже, Маруся, конечно, не знала, но в жизни он был грубоват или как минимум ехиден. Именно ехидство прозвучало в его голосе, когда он спросил, умеет ли она уже глотать шпаги.

– Борис Эдгарович шпаги не глотает, – тонким, сердитым голосом ответила Маруся. – И меня не учит. А я карточные фокусы умею показывать.

– Это ты правильно. – Сидоров кивнул так резко, как будто у него сломалась шея. – Раньше барышень учили на пианино играть. Чтобы, значит, компанию развлечь в случае чего. Ты как, на пианино умеешь?

– Нет.

– Зато фокусы умеешь, – не поднимая головы – видимо, у него уже не было на это сил, – пробормотал Сидоров. – Так что давай... показывай, не стесняйся...

Господи, ну что за наказание такое! Что-нибудь интересное – это не про нее, фокусы показывать она, видите ли, стесняется... Маруся решительно встала из-за стола и подошла к знаменитому сидоровскому сундуку, в котором хранилась бездна всякой занимательной и заманчивой всячины. Она открыла сундук и вынула колоду карт – обычную игральную колоду, потому что была у Сидорова и колода совсем не обычная, а такая, в которой каждая карта была размером с энциклопедический том.

– Только поскорее, Дюймовочка, – сказала Рина, когда Маруся вернулась к столу и раздвинула стаканы, освободив место для фокуса. – Всему свое время.

Из этих слов Маруся должна была понять, что карточным фокусам сейчас, конечно, совсем не время. Но сердитое упрямство, которого она давно в себе не замечала, вдруг – главное, совершенно непонятно почему! – овладело ею так сильно, что она не могла остановиться. У нее даже руки дрожали, когда она отделяла от колоды двадцать карт и раскладывала их попарно посередине стола.

– Задумайте любые две карты! – звонко, как на уроке, произнесла Маруся. Впрочем, на уроках она так звонко никогда не говорила, в школе она вообще в основном помалкивала. – Вот вы – задумайте!

Она обратилась к Гонорате, конечно, из того же отчаянного упрямства, из которого вообще стала показывать фокусы. Ясно было, что из всех собравшихся та меньше всего подходила для того, чтобы возиться с Марусей. Еще клоун Сидоров мог бы из сочувствия поиграть в детские игры, но уж никак не эта

невозмутимая красавица. Гонората окинула ее недоуменным взглядом и пожала плечами. Маруся почувствовала, что у нее начинает щипать в носу.

- Мы задумали, - сказал Гоноратин парень.

Маруся вздрогнула - она уже готова была расплакаться от идиотизма ситуации и не ожидала его вмешательства. Конечно, он просто подумал: «вы» означает, что Маруся обращается к нему и его подружке одновременно. Но, как бы там ни было, его голос прозвучал спасительно. Когда Маруся торопливо собирала карты, то чуть не выронила их: руки у нее дрожали даже больше, чем вначале.

- И скажите, в каких рядах они оказались теперь! - еще звонче воскликнула она, разложив карты снова, уже в четыре ряда, по пять карт в каждом.

- Во втором и в четвертом.

Теперь Маруся заметила в уголке его губ улыбку. Ну, еще бы! Она представила, как выглядит со стороны: красная, растрепанная, к тому же губы дрожат от вздорного волнения, и оттого рот кажется еще больше, чем обычно... Тут не улыбнуться можно, а в голос захохотать, указывая на нее пальцем!

- Вот эти.

Она решительно ткнула в бубнового валета и пиковую даму.

- Не совсем. Вот этот - да. - Гоноратин бойфренд указал на валета. - А дама ваша бита. - И он накрыл ладонью червового туза, лежащего рядом с дамой.

- Как?.. - растерянно пробормотала Маруся.

Лицо парня задрожало у нее в глазах и стало расплываться. Она закинула голову назад, надеясь, что это будет похоже на... На гордость, например. А вовсе не на боязнь того, что слезы выльются у нее из глаз и потекут по щекам прямо в скривившийся от обиды рот.

- Слушайте, ну что вы, ей-богу! - сказала Рина. - Ладно, ребенок развлекается, но взрослые-то люди - рты разинули, фокус смотрят! Как будто Дюймовочка им

сейчас золотую карту вынет.

Рина была права: если сначала никто не обращал на Марусю никакого внимания, то теперь все с интересом смотрели на нее. Или, вернее, не на нее, а на Гоноратиного дружка.

- И то правда, - сказал Сидоров. - Наливай, Андрюха.

Все тут же забыли про карты и про Марусю, зашумели, заговорили; забулькала льющаяся в стаканы водка.

- Извини, - негромко сказал парень. - Что-то я переборщил с правдой жизни.

При чем тут правда жизни, Маруся не поняла. Да она и ничего уже не понимала, кроме того, что слезы хлюпают у нее в горле и сейчас даже не потекут по щекам, а брызнут в стороны двумя фонтанами. Как у клоуна на манеже.

- Но... почему?.. - пробормотала она.

Меньше всего этот вопрос относился к карточному фокусу.

Почему так бестолково выходит все, что она делает? Почему это никому не нужно - так же, как не нужна она сама? Почему, если на нее и обращают внимание люди, на которых мгновенно обращают внимание все вокруг, то только по какому-нибудь нелепому поводу?

- Потому что не «имеет», а «умеет», - сказал вот именно такой человек. - «Наука умеет много гитик». Так ведь?

Конечно, это было так. Именно эта бессмысленная фраза лежала в основе карточного фокуса, в котором каждая карта была закреплена за определенной буквой и потому легко узнавалась в новой комбинации. И именно эту фразу Маруся перепутала.

- Не переживай, - сказал он. - Вот если б ты льву в пасть голову положила и сбой бы вышел, тогда да, есть о чем переживать. А фокус в следующий раз получится.

Лихие искры, которые Маруся сразу заметила в глубине его глаз, теперь стали в них главными. Глаза у него были зеленые, и потому искры в них были – как роса на молодой траве.

– Я не... пережива...

Закончить Марусе уже не удалось. Она схватила себя руками за горло, чтобы слезы как-нибудь остановились в нем и не вылились через глаза, вскочила и выбежала из гардеробной.

«Наверное, все подумали, что меня тошнит», – мелькнуло напоследок у нее в голове.

Глава 6

– Нет! – сердито воскликнул Сидоров. – Совсем не так!

– Но почему? – растерянно пробормотала Маруся. – Почему не так, Петр Иванович?

– Да ты же сама не веришь, что у тебя в руках телефонная трубка, а не гантель! А должна быть уверена. Это же клоунада, – чуть мягче объяснил он. – Все в ней перевернуто. И все предметы то вытворяют, что вытворять вообще-то не могут. В этом все дело, над этим люди ведь и смеются. Смотри.

Он отнял у Маруси гантель, которую она уже который раз безуспешно подносила к уху, изображая телефонный разговор, поднес ее к уху сам и беззвучно начал что-то в нее говорить. При этом его выразительное лицо менялось каждую секунду – играло всеми складками и морщинами, становясь то удивленным, то счастливым, то испуганным. Силовой акробат Миша Сапрыкин подошел к Сидорову сзади и подыграл ему: добродушно похлопал по плечу и отнял гантель. Силовые акробаты как раз закончили репетицию; реприза с гантелями, которая никак не давалась Марусе, должна была идти сразу после их номера. Она была очень простая: клоун мешался под ногами у акробатов, беседуя по огромному надувному телефону, акробаты прогоняли его, потом отнимали

телефон, и тогда он брал вместо телефонной трубки все их гантели поочередно. Когда очередь доходила до последней, реприза заканчивалась и начинался следующий номер – на манеж выбегали собачки.

– У меня так не получится, – вздохнула Маруся, когда Сидоров отдал гантель Мише и обернулся к ней.

– Получится. Все у тебя для этого есть. Краски ты вечно сгущаешь – раз. – Он принялся загибать пальцы. – Переживаешь сильно – два. Ну, и непосредственности тебе не занимать – три. А больше клоуну ничего и не надо.

Чем клоун Сидоров был похож на фокусника Ласкина, это умением говорить об ошеломляющих, не имеющих отношения к обыденной жизни вещах так, словно они-то и составляют основу жизни, а значит, всем понятны. Он говорил о них просто, без объяснений, как о чем-то само собой разумеющемся. Как друг красивой Гонораты говорил о бабочках, которые в животе летают от чего-то одного, а в душе – от чего-то совсем другого. Как будто у всех людей в душе летают бабочки и все прекрасно знают, как и отчего это бывает!

Но думать о каком-то постороннем человеке было сейчас не к месту. Время репетиций на манеже ценилось на вес золота, и раз уж Маруся поверила Сидорову в том, что она действительно обладает какими-то, как он сказал, органичными клоунскими качествами, то использовать это время следовало с толком.

Впрочем, на сегодня их время вышло – из-за форганга уже выскочили разномастные собачки Анжелы Вронской.

– Останешься? – спросил Сидоров, перешагнув вместе с Марусей через бортик манежа в зрительный зал. – Ну ладно, я пойду. Нос-то не вешай, – добавил он. – Все у тебя получится, уж мне-то можешь верить, я в опилках вырос.

Сидоров ушел, а Маруся уселась в первом ряду, чтобы понаблюдать за репетицией собачьей труппы. Она делала это часто, и Анжела никогда не возражала против ее присутствия. Говорила даже, что при Марусе ее питомцы лучше работают.

– Кобельки лучше работают, – уточняла она, смеясь. – Видно, понравиться тебе хотят. Мужчины, что возьмешь! Их сахаром не корми, дай перед девчонкой покрасоваться.

Неизвестно, было ли это связано с Марусиным присутствием, но сегодня все Анжелины собачки работали и в самом деле слаженно: лаяли положенное количество раз, отвечая таблицу умножения, без упрямства прыгали в обруч, ходили на задних лапках и играли на маленьком рояле.

– Ну а ты что? – вдруг укоризненно сказала Анжела. – Ты почему такая растяпа?

Маруся даже вздрогнула – подумала, что вопрос адресован ей, потому что дрессировщица смотрела в ее сторону.

Но Анжела обращалась, конечно, не к ней, а к большеухой собачке, которая во время всей репетиции и правда не сделала ничего необычного – просто сидела в сторонке и внимательно наблюдала за происходящим большими карими глазами.

– Жалко ее, а то бы давно на манеж выпускать перестала. – На этот раз Анжела в самом деле обратилась к Марусе. – Мамаша у нее умница была, а эта...

– Глупая, что ли? – спросила Маруся.

– И не то чтобы глупая, и не ленивая вроде. Говорю же, растяпа. Ну ничего делать не умеет! А на манеж при этом почему-то рвется, как на праздник. Смотри. – Анжела присела на бортик и позвала: – Растяпочка, я тебя люблю, иди ко мне.

Собачка тут же сорвалась с места, смешно подбрасывая задние лапы, помчалась к дрессировщице, вскочила к ней на руки и положила голову ей на плечо. На собачьей мордочке установилось при этом такое доверчивое и счастливое выражение, что невозможно было не рассмеяться. Маруся и рассмеялась.

– Как же не умеет? – сказала она, глядя собачку между торчащими, как у Лиса из «Маленького принца», ушами. – Смешная же, хоть и непонятно, почему. Как ее зовут?

– Растяпа и зовут. Как вы лодку назовете, так она и поплывет, – засмеялась Анжела. – Ну да, смешная, трогательная. Скажешь ей «люблю», она и бежит со всех лап. Но толку от нее нет. Бывают такие, ничего с ними не поделаешь. Кошку и то легче выдрессировать, чем такую собаку.

– Смешная, но толку нет, – задумчиво проговорила Маруся. – И ничего не поделаешь...

Морозы в этом году начались рано, не зря Марусе уже в октябре казалось, что приближается зима. А теперь, в декабре, морозы грянули такие, что она нос боялась высунуть на улицу. Вернее, не боялась, просто и могла высунуть разве что нос: подаренный Толей норковый полушубок остался у него в квартире, а в джинсовой курточке с войлочной подстежкой бегать по морозу было затруднительно.

С того вечера, когда она ушла из квартиры на Рождественском бульваре, Маруся не видела Толю ни разу. Да и где она могла бы его увидеть? В цирк он не ходил, а она почти не выходила из цирка, так что даже случайная встреча была исключена.

Ей не хотелось его видеть. Может быть, она просто боялась его увидеть, и даже наверняка именно так. Маруся не понимала, почему боится увидеть его – как будто она что-нибудь у него украла! – но при одной мысли о том, чтобы пойти к нему за своими вещами, она вздрагивала и малодушно уверяла себя, что еще не очень-то и холодно, да и вещей у нее никаких особенных не было, чтобы о них жалеть, а норковый полушубок ей вообще никогда не нравился, она и носить-то не умеет такие дорогие штучки... На самом деле он нравился ей ужасно. То есть не теперь нравился, а в тот вечер, когда Толя принес его в квартиру на Рождественском. Это и не вечер был, а глубокая ночь, Толя пришел пьяный, веселый, а Маруся притворялась, будто спит, и он вынул ее из постели голую – он сразу, с первой их ночи, велел, чтобы она спала только голой, – и закутал в этот легкий золотистый полушубок, и, целуя в горячий от понарошного сна живот, говорил, что она его сладкий малыш... Сейчас-то ее передергивало при этом воспоминании, особенно при воспоминании о том, как мужчина, которого она чувствовала теперь совершенно себе чужим, говорил ей эти пошлые слова, «сладкий малыш». А тогда она смеялась, жмурилась от счастья и послушно позволяла Толе целовать себя всю, хотя и вздрагивала с непривычки от жадной откровенности его губ.

Неужели все это было с нею?

Но, как бы там ни было, проходить всю зиму в джинсовой куртке было невозможно, купить шубу – тем более, а потому, раз ехать к Толе не хотелось, надо было поехать в Тураково и поискать там что-нибудь теплое. Ехать в Тураково тоже не хотелось, но это нежелание нетрудно было перебороть, потому что там, в давно покинутой родной развалюхе, Маруся все-таки должна была остаться один на один только с воспоминаниями, а не с человеком, с которым не могла бы теперь провести рядом и минуты.

Вот она и сидела ранним утром в стильном пригородном автобусе, который дожидался пассажиров на площади Ярославского вокзала.

Все-таки это невольное, всего лишь из-за теплой одежды, воспоминание о Толе оказалось гораздо сильнее, чем она предполагала. Зябко пряча нос в ворот куртки, Маруся вспоминала точно такое утро – зимнее, стылое, – когда уезжала с Толей из Москвы. Ничего общего не было у нынешнего утра с тем, разве что декабрьский мороз, а потому она сердилась на себя за незамысловатость своих ассоциаций.

«У кого жизнь пустая, тому всякие глупости запоминаются», – думала она.

Что-то такое сказала однажды мама, когда Сергей купил Марусе брусничное мороженое, а она сразу вспомнила, как в прошлом году в лесу под Тураковым было ужасно много брусники и бабушка набрала корзину, которая оказалась больше, чем маленькая Маруся.

Что из-за обычного декабрьского мороза ей вспомнилось то, о чем вспоминать не хотелось, было как раз из этого ряда – глупостей, заполняющих пустую жизнь.

Но воспоминания стояли перед нею так ясно, как будто были не призраками из прошлого, а картинками, которые мелькали за окном наконец-то тронувшегося с места автобуса.

И что она могла с ними поделать?

- Мурка, не делай этого.

Сергей смотрел на нее обычным своим спокойным взглядом, и только по тому, что возле глаза у него проступило светлое пятнышко и стрелой впилось ему в висок, Маруся понимала, что вовсе он не спокоен, совсем даже наоборот.

Она молчала. Это было молчание растерянности: она не предполагала, что на него так подействует ее решение. То есть она, конечно, понимала, что он станет ее отговаривать, но думала, что в глубине души он будет даже... Может быть, даже рад. Ну, если не рад, то, во всяком случае, спокоен.

И вдруг оказалось, он не то что не спокоен, а взволнован так сильно, что с трудом выговаривает слова. И это пятнышко у виска...

- Я не могу, - тоже с трудом выговорила она.

- Но должна.

- Почему?

Маруся произнесла это с обидой. Сколько можно относиться к ней как к маленькой и считать, что он лучше знает, что ей делать, что нет!

- Потому что это не тот человек, которого ты... которому я...

Тут он все-таки перестал владеть собою настолько, чтобы говорить со своей обычной математической ясностью.

- Ты его один раз всего видел! - сердито сказала Маруся. - И то три минуты на лестнице.

- Этого достаточно.

- Тогда объясни мне, что в нем не так, - так же сердито потребовала она.

Она никогда ничего не требовала от Сергея – она любила его так самоабвенно, что ей ничего не было от него нужно. Впрочем, мама ведь тоже никогда ничего от него не требовала, но по ровно противоположной причине: потому что совсем его не любила.

– Ты мне все равно не поверишь.

В его голосе прозвучало отчаяние. Маруся никогда не слышала отчаяния в его голосе. Даже когда мама прислала из своей Южной Америки бумагу, по которой ее муж имел право увезти Марусю, – даже тогда Сергей сообщил об этом спокойно, хотя Маруся знала, что он скорее даст себя убить, чем ее – увезти. Но отчаяния в его голосе тогда не было и помину. Была злая решимость и была уверенность в том, что никто у него Марусю отнять не сможет.

Теперь в его голосе прозвучало именно отчаяние, и Маруся поняла: он знает, что на этот раз ее у него отнимут, а потому говорить ей что бы то ни было бесполезно. То есть не отнимут ее, а она уйдет сама.

Сергей молчал, и она молчала тоже. Сердце у нее разрывалось от жалости к нему. Но что же она могла поделать? При одном воспоминании о том, как Толя сказал вчера на прощанье: «Так я тебя жду, Маняшка. Не обманешь меня, придешь?» – в глазах у нее становилось темно, и она понимала, что, конечно, придет, даже если для этого ей придется перешагнуть через пропасть.

Вот только она не предполагала, что пропасть, через которую ей придется перешагнуть, будет Сергеевой душой.

– Ты все неправильно про меня думаешь, – растерянно сказала Маруся. – Никакая я не андерсеновская девочка. И не Герда, и не Русалочка... И тем более не Принцесса на горошине! – сердито закончила она.

Марусе тут же стало стыдно за свои слова, потому что Сергей ведь объяснял это не ей, а Анне Александровне – что Маруся андерсеновская девочка, то ли Русалочка, то ли Герда, – а она услышала случайно, то есть просто подслушала.

Но он не обратил на такую мелочь внимания. Он вообще ни на что не обращал сейчас внимания. Он стоял посреди комнаты рядом с расстегнутой, как-то преступно развалившейся на ковре, словно врасплох застигнутой, Марусиной

дорожной сумкой, и отчаяние стояло у него в глазах.

Собирая поздно вечером свои вещи, Маруся не подумала, что Сергей еще может зайти к ней сегодня. Она хотела уйти завтра утром совсем рано и совсем тихо, а потом позвонить ему уже из аэропорта. Или не позвонить, а просто оставить записку. Или... Вообще-то она боялась представлять, как это будет – как она уйдет из его дома и как он поймет, что она ушла.

Маруся немного удивилась, когда он сразу, с первого взгляда то ли на нее, то ли даже на ее сумку, понял, к кому она уходит. Сергей в самом деле видел Толю три минуты, если не меньше. Тот попрощался с Марусей на лестнице, когда Сергей вошел в подъезд, они окинули друг друга короткими настороженными взглядами, Толя чему-то усмехнулся, а Сергеево лицо, как всегда, осталось непроницаемым. И все! Откуда он мог знать, что это какой-то там «не тот человек»? В чем – не тот?

– Я все равно к нему уйду, – тихо сказала Маруся. – Все равно, Сережа. Если ты дверь на замок запрешь, я в окно вылезу.

– Дверь? – Она никогда не слышала, чтобы его голос звучал так горько и горестно! – Нет, дверь я не запру. – Он помолчал и добавил все с той же мучительной интонацией: – Ну почему именно к этому?..

Маруся не ответила. Если бы в ней была сейчас хоть капелька того, что можно было бы назвать знанием, она все его, это знание, отдала бы Сергею. Но знания не было и капельки – все в ней было сейчас совсем другое, чем знание, и это другое заполняло ее от пяток до горла.

– Но почему же не к нему? – растерянно произнесла она уже Сергею в спину.

Не ответив, тот вышел из комнаты.

Анна Александровна была в командировке. Всю ночь в доме было тихо, как в склепе. Сергей не делал ничего такого, что говорило бы о волнении – о таком волнении, каким его показывают в кино. Он не мерил широкими шагами коридор, не курил на кухне сигарету за сигаретой, но Маруся все равно знала, что он не спит. Спальня в квартире Ермоловых была расположена необычно – на крыше дома. Мама Сергея, Антонина Константиновна, однажды сказала Марусе,

что раньше там торчала какая-то несуразная будка, а потом ее перестроили, сделали лестницу, ведущую прямо из квартиры, и получилось что-то вроде мансарды.

Ермоловская квартира вообще была необычная. На кухне, например, была дверь, через которую можно было пройти во вторую квартирную половину. Но на этой второй половине было уже не жилье, а редакция журнала «Предметный мир», который принадлежал Анне Александровне. Кто и когда разделил квартиру таким странным образом – вроде и разделил, а вроде и не очень, – никто из Ермоловых не знал. Да Марусю, по правде говоря, не очень это и интересовало. Все связанное с Сергеевой семьей было ей поперек сердца. Если бы не они, эти люди, которых он любил и которые не любили ее, Марусю, как ни преодолевали они эту нелюбовь всей своей старательной интеллигентностью, – все, может, было бы у нее по-другому...

Но теперь уже неважно было, как все было бы, если бы... Теперь у нее был Толя, и ей больше не было дела ни до Анны Александровны, ни до Антонины Константиновны, ни тем более до неизвестного ей Матвея Сергеевича.

О Сергее она старалась не думать – сердце ее зажималось при мысли о нем так плотно, как не могли зажмуриться глаза. И этим зажмуренным сердцем она изо всех сил старалась не видеть, как он стоит у окна в своей стеклянной спальне, смотрит на блестящий в свете ночных фонарей иней на темных деревьях, потом – на бледно-зеленые в тусклом зимнем рассвете крыши старых домов и какие у него при этом глаза.

«И пусть! – со злым отчаянием думала она, не отводя взгляда от часовой стрелки, которая никак не желала двигаться поживее. – Я ему не игрушка и не дочка, и у него свой сын есть, и... И никогда я сюда больше не вернусь!»

Больше всего Маруся боялась, что он все-таки выйдет утром в прихожую, пока она торопливо одевается, не зажигая света. Но он не вышел. И дверь, конечно, была не заперта.

Неслышно закрыв за собою эту дверь, Маруся прижалась к ней спиной и несколько секунд постояла в темноте лестничной площадки. Она не могла оставаться в Сережином доме, она знала, что это дом невозмутимой Анны Александровны, и непонятной Антонины Константиновны, хотя та и живет-то не

здесь, а на даче, и этого их бесстрашного Матвея, хотя он служит за тысячу километров отсюда, да и прежде, до армии, уже не жил с родителями; это их дом, а не ее! Но когда она оставалась в этом доме одна – брала с полки старые, с ятиями, хрупкие бумажные книжечки стихов, накручивала валик в музыкальной шкатулке и слушала простую, берущую за сердце мелодию, – что-то в ее душе говорило ей совсем другое...

«Это неправда! – отчаянно возражала она своей душе. – Чужое, чужое! И про статуэтку Сережа просто выдумывает, чтобы меня удержать! А я не хочу и не буду!»

Про деревянную расписную танцовщицу, которая стояла на письменном столе рядом с музыкальной шкатулкой, Сергей говорил, что она чем-то похожа на Марусю. Маруся даже боялась смотреть на эту пляшущую девушку. Может, случайное сходство и в самом деле было, но она не хотела его видеть. Мало ли какие бывают случайные сходства! Сергей говорил даже, что она похожа на женщину с такой же старинной, как статуэтка, фотографии. Фотография висела на стене в его комнате, на ней были сняты его дед Константин Павлович Ермолов с женой и сыном. С этими родственниками, о которых почему-то никто из Ермоловых почти ничего не знал, тоже была связана какая-то семейная история. Кажется, эта женщина, Ася Ермолова, уехала после революции за границу, а мужа и сына почему-то оставила, и сын этот потом куда-то пропал... Маруся знать не хотела никаких их семейных историй, и когда Сергей сказал, что она похожа на эту Асю, ей захотелось зажмуриться. Вот как сейчас, когда она стояла на темной лестничной площадке.

Весь этот дом будоражил и мучил ее каким-то странным, не имеющим объяснения чувством, и даже темная дубовая дверь, к которой она всего на несколько секунд прижалась спиной, показалась большой ладонью, никак не могущей ее отпустить.

Она открыла глаза, встряхнула головой, прогоняя это наваждение, и, перепрыгивая через ступеньки, побежала вниз по лестнице.

Толя ждал ее на углу Малой Дмитровки и Страстного бульвара.

– Пришла! – радостно сказал он, обнимая запыхавшуюся Марусю. – Пришла, сладкая моя...

Маруся вздрогнула от этих горячих, совсем не утренних слов и покрепче прижалась к его груди. Толя похлопал ее по спине и добавил:

– Ты ж взрослая уже, Маняшка. Пора свою жизнь начинать. Сколько у чужих людей камнем на шее висеть? Сама понимаешь.

– Понимаю...

Не поднимая глаз, Маруся кивнула, при этом ткнувшись носом в широкие мускулы на Толиной груди.

– Хорошо, раз понимаешь. Ну и поехали, красиво проживем! – Он широким жестом показал на блестящий черный «Мерседес», который Маруся сразу не заметила. – Садись, малыш.

Из машины вышел шофер, распахнул перед Марусей заднюю дверцу. Она видела, как приятно Толе это зримое воплощение жизненного успеха, и постаралась улыбнуться, и даже пробормотала что-то про очень красивую машину. Но восторг ее выглядел совсем неубедительно – то странное, нелогичное чувство, от которого она со всех ног бежала по Малой Дмитровке, все-таки не хотело ее отпускать.

– Плохой, что ли, «мерс»? – разочарованно спросил Толя. – Вот и бери девчонку от богатых! У отчима небось и не такого навидалась. У него какая тачка?

Никакого особенного богатства Маруся у Сергея не навидалась – ни в его семейном доме, ни прежде, когда он был маминым любовником. Про дом Ермоловых она понимала только, что все в нем наполнено какой-то очень значительной жизнью, которая есть что-то другое, чем бедность и богатство. А мама мгновенно тратила любые деньги, которые попадали к ней в руки, поэтому Маруся даже и не знала, сколько их дает Сергей. Самой ей деньги было тратить особенно не на что: одежда, которая ей нравилась, стоила совсем недорого, в поездки с Сергеем за границу мама ее не отпускала из какого-то, Марусе непонятного, а для Сергея мучительного упрямства, книги он покупал Марусе сам или они делали это вместе...

– У него «Вольво», – пробормотала Маруся.

– Основательный мужик, – усмехнулся Толя. – Надежность уважает. Ну-ну...

Что значили его слова и почему в его голосе явственно слышалось превосходство, Маруся понять не успела. Толя легонько подтолкнул ее к машине и, как только они оказались на мягких сиденьях салона, стал целовать с такой страстью, что у Маруси закружилась голова и она даже не заметила, как машина тронулась с места.

– Шофер же... – прошептала она в твердые Толины губы, почувствовав, что его дрожащая от нетерпения рука расстегивает молнию на ее джинсах.

– Брось, Маня, – нехотя оторвавшись от ее губ, поморщился он. – Я с тобой ничего не стесняюсь, если хочешь, посреди улицы разденусь и любиться буду, ну, и ты не стесняйся. А водила за то зарплату получает, чтоб не оглядывался, когда не надо. – Но, всмотревшись в Марусино лицо, все-таки смущенное, скомандовал шоферу: – Музыку включи, Саня.

И, расстегнув Марусину куртку, положил руку ей на грудь и сжал ее так сильно, но при этом так приятно, что она забыла обо всех своих страхах и больше не вспоминала.

В Шереметьеве, когда уже прошли пограничный контроль, Маруся купила журнал «Вог», такой большой и тяжелый, что он даже не поместился в ее сумку, и, сидя в кафе, пока Толя ходил за сигаретами, успела просмотреть несколько страниц. Лица у журнальных красавиц были томные и роковые, платья дорогие и безупречные, а у одной из них на руке было кольцо, про которое Маруся прочитала, что оно из шоколадного золота. Ей совсем не хотелось иметь такие платья и такие кольца, но только сейчас, перелистывая эти эффектные картинки за полчаса до своего первого заграничного путешествия, она впервые же и поняла, для чего нужны такие вот журналы, которые прежде вызывали у нее одно лишь недоумение.

Это были журналы для взрослых женщин, которые не страшатся своей взрослости, а, наоборот, получают от нее удовольствие, как от хорошей сигареты после хорошего кофе.

– Дай и мне, – попросила Маруся, когда Толя сел рядом с ней за столик и закурил.

– А ты куришь, что ли? – удивился он.

– Ну, иногда... – торопливо пробормотала Маруся.

От первой же затяжки она закашлялась и слезы выступили у нее на глазах.

– Не чуди, малыш. – Толя отнял у нее сигарету. – Курящую бабу целовать – все равно что пепельницу облизывать. Думаешь, от курева взрослее станешь? Вот в Египет прилетим, я тебе покажу, от чего девчонка взрослее становится.

Он в самом деле показал ей это сразу же, как только они перешагнули порог своего номера. За окном сияло солнце, море плескалось прямо под балконом, цепочка Синайских гор маняще синела на горизонте, и все это наполняло Марусю счастьем, и все это казалось нескончаемым.

Конечно, она понимала, что они не прилетели в Шарм-эль-Шейх навечно, но понимала и другое – что счастье не в ярком декабрьском солнце, не в теплом море и не в свежем апельсиновом соке, которым Толя поил ее в постели и капли которого, проливая, собирал потом с ее груди губами. Счастье в том, что им впервые за все месяцы, которые они знают друг друга, не надо расставаться – ни на час, ни на день, ни на время какой-нибудь его неожиданной командировки. Маруся не знала, что будет через неделю, когда кончится Толин отпуск. В Москве она никогда не оставалась у него ночевать: он не просил ее остаться, и она чувствовала от этого даже какое-то опасливое облегчение – по крайней мере, не надо было ничего объяснять Сергею. А потом Толя позвал ее лететь с ним в Египет, и она полетела, не спрашивая, что должна сказать дома и что будет дальше. Но ведь она полетела бы с ним куда угодно и в том случае, если бы точно знала, что никакого «дальше» не будет вовсе...

– Все, малыш, – шепнул Толя, легонько отталкивая ее от себя, и, тяжело дыша, откинулся на подушки. Маруся вздрогнула от его слов. – Я тебя теперь от себя не отпущу. Хватит на часы смотреть в кровати, не мальчик уже. Молодая ты, конечно, сомнения есть у меня... Но вроде девчонка неплохая. Ладно, поживем вместе, посмотрю, что оно будет. Ты как на такое дело смотришь, чтоб со мной пожить?

– Я... хорошо... – чуть слышно проговорила она.

– Ну и хорошо, раз хорошо.

Три года назад, когда Маруся была влюблена во вгиковского студента – того, которого потом застала в постели с двумя голыми однокурсницами, – мама сердито говорила ей:

– Если бы ты не бежала к нему, как собачонка, по первому свисту, он бы тебя на коленях умолял вообще от него не уходить! А так он тебе даст пинка под зад в ближайшее же время, можешь не сомневаться. Мужчины одноклеточные существа, управляются двумя кнопками. Проще, чем стиральная машина.

Тогда мама оказалась права, но все равно Маруся уже и тогда знала, что маме далеко не все известно о мужчинах. Что-то в них было такое, что не управлялось двумя кнопками да и вообще не определялось словом «управление»... Маруся не столько знала это, сколько чувствовала. И неважно, что тот студент, конечно, вскоре ее бросил. К Толе она ведь тоже готова была бежать с закрытыми глазами и даже вовсе без всякого свиста, но это оказалось совсем неважно – он все равно захотел, чтобы она была с ним, захотел с ней не расставаться!

И, радуясь, что мама была не права и счастье возможно, Маруся засмеялась и сунула голову Толе под мышку, как под большое сильное крыло.

В тураковском доме царило привычное запустение. Сколько Маруся себя помнила, здесь всегда было так, даже когда была жива бабушка Даша, и было хозяйство с курами и поросятами и мамина мастерская с сумрачными картинами... Все равно и тогда казалось, что в этом доме долго никто не жил, а потом вот поселились какие-то люди, которые то ли не умеют, то ли не хотят толком обустроиться. Хотя вообще-то в этом покосившемся домишке выросла не только мама, но еще даже бабушка, не говоря уж про Марусю.

– Бездомовные они, Климовы-то, – услышала однажды Маруся. – Не бабы, а одно недоразумение. Потому и безмужние все. Какой мужик потерпит, чтоб в доме ни достатка, ни уюта?

Говорила это тетя Зина, дом которой стоял рядом и которая поэтому вечно ругалась с бабушкой Дашей: то климовские куры зашли в соседский двор и съели весь корм, не про них насыпанный, то коза ихняя драная объела огород,

то к Амальке-потаскухе понаехали среди ночи из Москвы художники и орали да водку жрали до утра... В отличие от бабушки Амалия вообще не обращала внимания на соседей – не снисходила до скандалов, ни о чем не просила и даже не разговаривала с ними. Не приходилось удивляться, что бабушку в деревне не любили, Амалию ненавидели, а Марусю норовили пожалеть. Жалость казалась ей оскорбительнее, чем даже ненависть, поэтому она сторонилась соседей не меньше, чем мама.

Но, конечно, насчет бездомности соседка была права. О том, например, что в доме должно быть чисто, Маруся впервые узнала от Сергея. Ей тогда было восемь лет, и она с удовольствием училась мыть полы, потому что он хвалил ее за это. Впрочем, Сергей не ругал ее и за полы невымытые. Может, просто не хотел, чтобы Амалия стала возмущаться, что он навязывает ее дочери свои идиотские буржуазные представления о женщине. Мама всегда называла его благополучным буржуа, который ничего не понимает в творчестве, а потому не должен вмешиваться в ее жизнь, а если он желает руководить женщиной на том основании, что спит с нею, то нечего ему сюда приезжать, потому что для подобных намерений у него есть супруга, как раз такая благополучная клушка, которая ему только и нужна... Когда мама говорила все это Сергею, Маруся зажмуривалась и затыкала уши – боялась, что однажды он в самом деле не приедет.

С тех пор как Сергей появился в ее жизни, тураковский дом стал ей каким-то чужим, притом непонятно почему, она ведь после его появления прожила там еще восемь лет – целую вечность. Но это было именно так, и именно поэтому теперь, морозным декабрьским днем, Маруся вошла в тот временный свой дом с совершенно равнодушным сердцем, хотя не была здесь больше двух лет.

Если чему и стоило удивляться, то лишь тому, что дом не развалился за это долгое, перевернувшее Марусину жизнь время.

Она с трудом повернула ключ в замке, с трудом, налегая всем телом, сдвинула с места дверь, застывшую так же, как здешняя жизнь.

Дом ничуть не изменился оттого, что люди давно его покинули. Тот же стол на кухне – щербатая столешница, шаткие ножки, бугристая клеенка; тот же абажур на лампочке – выцветший настолько, что непонятно, имел ли он когда-нибудь цвет. Те же светлые деревянные полки для книг в Марусиной комнате – их сделал муж соседки Зины, а когда Сергей, заказавший ему эту работу,

расплачивался с ним, то он сказал: «Хороший ты человек, Константиныч, а счастья-то Бог тебе не дает», – и посмотрел на Марусю так выразительно, что ей захотелось провалиться сквозь кривые доски пола. Понятно ведь было, что сосед считает ее приметой Сергеева несчастья.

Не разглядывая больше всю эту знакомую обстановку, которая до сих пор сидела у нее в голове если не болезненным, то все-таки неприятным гвоздем, Маруся открыла шкаф и сняла с вешалки цигейковую шубу, в которой ходила до восьмого класса. Фигура у нее с тех пор почти не изменилась, поэтому цигейка пришлась впору. Правда, шуба была очень уж некрасивая – ее покупала когда-то бабушка Даша, и, хотя она честно потратила все деньги, оставленные Сергеем на теплую одежду для Маруси, одежда эта, в том числе и шуба, оказалась какая-то бесформенная; теперь это было особенно заметно. Впрочем, Маруся и не ожидала найти здесь палантин от Диора, а цигейка, как ни говори, была очень теплая, это она помнила еще с тех пор, когда бегала в свою деревенскую школу через поле, которое насквозь продувалось ветром. Жмурясь от этого льдистого ветра, она тогда представляла, как в один прекрасный день мама все-таки согласится, чтобы Сергей снял ей квартиру, и они переедут в Москву, и какое это будет счастье! Но мама не соглашалась на это с таким же необъяснимым упрямством, с каким не позволяла Сергею повезти ее дочь за границу. Так что Маруся пошла в московскую школу только в последнем классе – в ту самую, из «Двух капитанов».

«И что, много в этом счастья оказалось? – насмешливо подумала она. – Ну и хватит себя жалеть!»

Тут Маруся вспомнила, что жизнь ее теперь – это не школьное одиночество, не Толино уверенное «моя баба должна знать свое место», не постылая забота Анны Александровны, а цирк, и сразу поняла, что жалеть ей себя в самом деле не за что. Она даже не столько поняла это, сколько почувствовала по тому волшебному трепету, который прошел по ее душе при этом воспоминании. Как ветер от крыльев тех самых бабочек, которые неизвестно отчего в душе человеческой летают.

Она покрутила головой и даже зажмурилась, но бабочки не улетели. Тогда Маруся засмеялась, застегнула цигейку, положила джинсовую куртку в сумку, туда же сунула свои старые зимние сапоги – тоже купленные бабушкой, тоже бесформенные и тоже не знающие сносу, – и, ни о чем больше не думая, вышла из дома.

Часть II

Глава 1

«Пора, значит, расставаться», – подумал Матвей.

И тут же представил, как нелегко будет объяснить это женщине, голова которой с таким скульптурным совершенством лежит у него на плече, и ему стало до того тоскливо, что хоть не думай об этом совсем. Он знал, что большинство людей так и делают – произносят магическую фразу: «Я подумаю об этом завтра», – и сразу успокаиваются. Но Матвей давно уже понял, что для него эта приятная фраза магической почему-то не является. А значит, с Гоноратой придется поговорить прямо сегодня.

Словно почувствовав, что он думает о ней, Гонората открыла глаза и сразу стала по-дневному, даже по-вечернему красива. Матвея поражало это ее свойство: ни секунды после пробуждения не выгладеть заспанной, утренней, неприглядной. До встречи с нею он думал, что так бывает только в кино – женщина просыпается после бурной любовной ночи, а лицо у нее между тем свежо, как... Как майская роза, что ли, или какие там еще бывают красоты. То есть у него, конечно, и раньше бывали красивые женщины, вернее, некрасивых у него просто не бывало, но все-таки скидку на пробуждение приходилось делать для всех. Кроме Гонораты.

И зачем вдруг надо расставаться с такой женщиной, и почему именно сегодня, и отчего он в этом так уверен – объяснить это понятными словами Матвей не смог бы. Года три назад такая мысль вообще не пришла бы ему в голову и он не расстался бы с Гоноратой до тех пор, пока отношения не дошли бы до черты взаимного раздражения. Эту черту он чувствовал сразу, а потому такие расставания никогда не бывали болезненными ни для него, ни для его подружек. Но мало ли что было три года назад – теперь все стало иначе, и отношение к женщинам оказалось еще не самой большой переменной, которая произошла в нем.

Кінець ознакомительного фрагмента.

Купити: https://tellnovel.me/berseneva_anna/murka-marusya-klimova

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)